

ISSN 0131-677X

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

СОВЕТСКАЯ ТЮРКОЛОГИЯ

La Turcologie soviétique
Soviet Turkology
Sowjetische Türkologie



1

БАКУ • 1988

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

С О В Е Т С К А Я ТЮРКОЛОГИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1970 ГОДУ

Выходит 6 раз в год

№ 1

ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ

БАКУ — 1988

ACADEMY OF SCIENCES OF THE USSR

ACADEMY OF SCIENCES OF THE AZERBAIJAN SSR

СОВЕТСКАЯ ТУРКОЛОГИЯ
LA TURCOLOGIE SOVIETIQUE
SOVIET TURKOLOGY
SOWJETISCHE TÜRKOLOGIE

Редакционная коллегия: главный редактор Э. Р. Тенишев (Москва), зам. главного редактора С. Н. Иванов (Ленинград), первый зам. главного редактора А. М. Мамедов (Баку), зам. главного редактора К. М. Мусаев (Москва), И. Х. Ахматов (Нальчик), А. А. Ахундов (Баку), Р. Б. Бердибаев (Алма-Ата), Г. Ф. Благова (Москва), Н. З. Гаджиева (Москва), Э. А. Грунина (Москва), Е. З. Кажибеков (Алма-Ата), И. В. Кормушин (Москва), Л. С. Левитская (Москва), Т. Д. Мельков (Москва), Б. А. Набиев (Баку), Б. А. Назаров (Ташкент), Е. А. Поцелуевский (Москва), К. К. Султанов (Москва), З. Г. Ураксин (Уфа), А. А. Чеченов (Москва), А. М. Щербак (Ленинград).

Ответственный секретарь
Н. Г. Наджафов

«Советская тюркология», 370143, Баку, пр. Нариманова, 31. Академгородок. Тел.: 39-24-57, 39-22-86.

Editorial board: editor-in-chief E. R. Tenishev (Moscow), assistant editor S. N. Ivanov (Leningrad), the first assistant editor A. M. Mamedov (Baku), assistant editor K. M. Musayev (Moscow), I. H. Akhmatov (Nalchik), A. A. Akhundov (Baku), R. B. Berdibayev (Alma-Ata), G. F. Blagova (Moscow), N. Z. Gadzhdiyeva (Moscow), E. A. Grunina (Moscow), E. Z. Kazhibekov (Alma-Ata), I. V. Kormushin (Moscow), I. S. Levitskaya (Moscow), T. D. Melikov (Moscow), B. A. Nabiyev (Baku), B. A. Nazarov (Tashkent), J. A. Potseluyevsky (Moscow), K. K. Sultanov (Moscow), Z. G. Uraksin (Ufa), A. A. Chechenov (Moscow), A. M. Scherbak (Leningrad).

Executive secretary
N. G. Nadzhafov

«Sovjetskaja tjurkologija», Akademija nauk
Azerbajdžanskoj SSR,
370143, Baku, prosp. Narimanova, 31.
Tel.: 39-24-57, 39-22-86.

The journal is published 6 times a year. Subscriptions should be sent to «Mezhdunarodnaya Kniga» (Moscow Г-200). Annual subscription 6 roubles 60 kopeks.

СТРУКТУРА И ИСТОРИЯ ЯЗЫКА

В. Г. ГУЗЕВ

О КАТЕГОРИИ АСПЕКТУАЛЬНОСТИ

(НА МАТЕРИАЛЕ СТАРОАНАТОЛИЙСКО-ТЮРКСКОГО ЯЗЫКА)

В современном теоретическом языкознании отчетливо обозначилась прогрессивная тенденция разграничивать в сфере аспектуальных языковых значений *видовые* (собственно аспектные) и *акционсартовые* (Actionart «способ действия», «характер протекания действия», «акциональные») значения [1. С. 7—32; 2. С. 53—80; 3. С. 5—15; 4. С. 31; 5. С. 12—15; 6. С. 68—81; 7. С. 11:—120; 8. С. 88—177; 9. С. 46, 48, 67 и др.].

Под видом (аспектом) оправданно понимать, в каком именно *виде*, образе действие представилось говорящему, как он его воспринял и как он его представляет слушающему. Это субъективное видение действия. Последнее может быть истолковано, например, как развертывающийся, протекающий процесс, наблюдаемый как бы изнутри, в период его осуществления, или как отдельный целостный факт, рассматриваемый как бы со стороны, внешним наблюдателем и т. п. Видовые значения, следовательно, — это сформировавшиеся в процессе языковой эволюции и закрепленные за теми или иными словоизменительными глагольными формами типовые образы, в которых носители данного языка имеют возможность представлять действие при осуществлении актов коммуникации. По удачному выражению Йенса Хольта, это «различные способы представления протекания действия» (цит. по: [1. С. 9]).

К разряду акционсартовых целесообразно относить такие значения, которые представляют собой результат отражения, обобщения и «языковлечения» (И. А. Бодуэн де Куртенэ) объективно присущих процессам, действиям свойств, таких, например, как начинаться, кончаться, длиться, протекать быстро или медленно, осуществляться однократно или многократно и т. п.

Справедливой представляется также мысль о родстве, близости и генетической преемственности акционсартовых и видовых значений [1. С. 10; 10. С. 39]. К. ван дер Хейде прямо заявляет: «Совершенно ясно, что исторически выражение способа действия древнее, чем выражение вида» [11. С. 62].

Видовые значения в тюркских языках обнаруживаются, наряду с темпоральными и модальными, в составе сложных значений отдельных временных форм глагола, где они выступают в качестве компонентов (сем) этих значений. Кроме того, носителями как видовых, так и акционсартовых значений являются многие сложновербальные образования, две основные разновидности которых традиционно именуются в тюркском языкознании «перифрастическими» и «аналитическими» формами [12].

Опираясь на приведенный тезис о родстве видовых и акционсартовых значений, вполне оправданно, во-первых, обозначать и те и другие одним общим термином «аспектуальные», во-вторых, рассматривать совокупность сложновербальных форм (как «перифрастических», так и «аналитических»), имеющих видовые или акционсартовые значения, как единую самостоятельную глагольную словоизменительную категорию *аспектуальности*. Несомненное функционально-семантическое родство между «перифрастическими» и «аналитическими» формами, объединяющее их в одну грамматическую категорию [15], подтверждает мысль о том, что «для признания какой-либо категории того или иного языка видом (как, впрочем, и для признания какой-либо категории временем, залогом и т. д.) неважно, какими именно формальными средствами она выражена» [1. С. 8—9]. Вместе с тем из признания решающей роли функционально-семантических факторов в организации категории следует, что сложновербальные формы с исключительно модальными или темпоральными значениями находятся за пределами категории аспектуальности.

Важно подчеркнуть, что, поскольку как видовые, так и акционсартовые значения несут в конечном счете информацию об имеющих дополнительный характер второстепенных свойствах действий и не вызывают нарушения тождества лексического значения исходной глагольной основы, они представляют собой типичные служебные грамматические значения. В силу этого рассматриваемые языковые средства не могут истолковываться как словообразовательные. Сказанное означает, что едва ли оправданно полагать, что «перифрастические» формы с акционсартовыми значениями производят лексические модификации глагольных значений [9. С. 20]. Положение, согласно которому «...при помощи способов действия мы выражаем разные по своему содержанию действия; если мы изменим способ действия, то изменится и само действие» [17. С. 109], возможно, справедливо в отношении славянских языков. Однако весьма сомнительно, что оно может считаться универсальным (в смысле применимости к любому языку) и что имеются какие-либо основания для его перенесения на тюркскую почву.

С отстаиваемых в настоящей статье позиций, рассматриваемые сложновербальные образования суть словоизменительные грамматические формы. Их грамматизованность проявляется в следующем: 1) глагол *ol-* в составе «перифрастических» форм и глаголы-«модификаторы» «аналитических» конструкций выступают лишь как компоненты этих образований, в той или иной мере утратившие свои исконные лексические значения, т. е. подвергшиеся десемантизации, в основе которой лежит трансформация вещественного глагольного значения в служебное путем отвлечения каких-либо свойств означаемого глаголом действия; 2) каждое образование имеет вполне сформировавшееся, конкретное, цельное служебное значение (см. ниже); 3) это служебное значение сопрягается с лексическим значением исходной основы, никак его не модифицируя, не нарушая его тождества самому себе; 4) в целом каждое образование функционирует как механизм свободного сочетания, сочленения лексического значения основы со служебным значением самой сложновербальной формы, и в этом рассматриваемые образования ничем не отличаются от других грамматических словоизменительных форм.

В староанатолийско-тюркских памятниках зарегистрированы следующие «перифрастические» формы (типичная структура: причастие+глагол *ol-*):

Форма -туш ol-, как видно из приводимых примеров, имеет значе-

ние, содержание которого (если попытаться избежать, как правило, нечетких лингвистических терминов) можно передать словами «быть/стать совершившим/совершавшим, сделавшим/делавшим что-либо»: 'âşuqların gönlü gözi ma'şûq dâre *gitmiş olur* [18. 1426] 'И сердца и глаза влюбленных полностью обращаются (букв.: становятся ушедшими) к возлюбленному (т. е. к богу)'; *bir vaqt istâjâm kim julan uju-myş ola* [19.34a] '...хочу выбрать такой момент, когда змея уснет (букв.: будет уснувшей)'; *âgâr durişmägi aşaga korisä gändü kapuna girmiş olur* [19. 356—36a] 'Если (человек) не вступает в борьбу, то оказывается в положении того, кто погубил сам себя'.

Хотя генетически в основе значения рассматриваемой формы, возможно, лежит акционсартовая качественная фазовая характеристика действия как достигнутого конечного предела, как завершившегося, более правильной представляется трактовка этого значения как типично видового — посттерминального (выше было сказано, что автор разделяет тезис о родстве и генетической преемственности видовых и акционсартовых значений). Это означает, что обсуждаемая форма истолковывается нами как средство представления действия в виде целостного, комплексного, включающего границы этого действия, синтезированного образа, лишённого процессной характеристики. Иными словами, речь идет о том же видовом значении, которое обыкновенно обнаруживается у перфектных временных форм. Форма, о которой идет речь, отличается от перфекта, во-первых, отсутствием темпоральной семантики (прошедшего времени), во-вторых, иным функциональным предназначением — использовать присущее перфекту видовое значение посттерминальности за пределами зоны функционирования перфекта, т. е. сочетать его с иными временными и модальными значениями [20. С. 104—105]. В следующем примере она выступает в одном контексте с перфектом, но с иным временным значением — непредшествования: *çûn arslan katyna varasyn, âgâr işbu nişânlary arslanda görürisân kim: dogru durmyş ola vä bojnyn jüksältmiş vä kujrugyn jerä urur ola — bilgil kim javuz qasd äjlâmişdür* [19. 53a] 'Если, придя ко льву, ты увидишь у него следующие признаки: он выпрямится, вытянет шею и начнет бить хвостом по земле, знай, что он задумал дурное'. В нижеследующих примерах видовое значение посттерминальности сопрягается с повелительной (пример 1) и условной (2) модальностями: 1) *Ка'бä sänün işigündür! bilmış ol* [18. 1626] 'Знай: Кааба — твой предел!'; 2) *pâdyşâhlar hünâr vä fazl islârinä ol qadar ragbât äjlâmâzlar çûn jeñi gâlmış olsa* [19. 276] 'Правители не обнаруживают особого пристрастия к искусным и добродетельным людям, если они еще только недавно появились (в их окружении)'.

Форма -(A)r ol- имеет качественное типично акционсартовое начинательное значение: *dolu aja bânzâr olur hâm jüzi, görür olur hâm anıñ gögmâz gözlâri* [21. 61] 'И лицо его начинает походить на полную луну. Начинают видеть его незрячие глаза'; *haqdan başa pazar oldy, haq kapusyn açar oldum, girdüm haqqıñ hazinâsinä, dürr ü gävhar saçar oldum* [18. 1446] 'Господь обратил на меня взор — я начал открывать врата истины, вошел в сокровищницу господню, начал расточать жемчуга'; *adym sorar olursañ sultâna bânâm sultân* [18. 160a] 'Если начнешь расспрашивать обо мне, — я царь царям'.

Сочетание *-(A)r olur* использовалось в староанатолийско-тюркском языке также с иным качественным акционсартовым значением — таким, которое характеризовало действие как обычное, обыкновенно наблюдающееся: *âqil kişi kimsänün zâhirinâ bakıp bätynyn anlar olur* [19. 27a] 'Умный человек, глядя на внешность кого-либо, обычно понимает, что у

того внутри'; *pâdyşâhlar gändü jakynlaryn hoş dutar olur* [19. 276] 'Правители обыкновенно хорошо относятся к своим приближенным'.

Форма *-maz ol-* представляет собой грамматический антоним предыдущей формы и тоже имеет акционсартовое фазовое, но прекратительное (цессативное) значение: *aglamakdan görmâz oldy gözlâri* [21. 45] 'От плача его глаза перестали видеть'; *görünmâz oldy ol kyzlyk û âfât* [18. 9a] 'Перестали появляться нужда и беда'; *jajlalar jajlamâz olmyş, kyslalar kyslamâz olmyş, bâr dutmyş söjlâmâz olmyş agyzda dillâri gördüm* [18. 144a] 'Летние и зимние кочевья перестали быть пригодными. Я увидел заржавевшие, разучившиеся говорить языки в устах'.

В текстах встречаются следующие «аналитические» формы (типичная структура: деепричастие *-(j)A/-(j)ur*, реже финитная форма + глагол-«модификатор»).

В конструкции *-(j)A başla-*, имеющей акционсартовое фазовое значение начинательности, глагол *başla-* выступает со своим обычным лексическим значением «начинать». Поэтому приходится оставить открытым вопрос о степени грамматизованности этого образования и о признании его грамматической словоизменительной формой. Чисто технически, как «аналитическая» конструкция, и семантически оно, несомненно, способно занимать место в ряду рассматриваемых морфологических средств. Оно привлекает внимание, во-первых, как свидетельство того, что вещественные и служебные грамматические значения попросту могут совпадать (а в таком случае семантическая трансформация, десемантизация оказывается излишней), во-вторых, как один из тюркских способов передачи ингрессивного смысла [22. С. 268]. Примеры: *baştak-çunuñ 'avraty âl du'âja götürdi, münâcat kylu başlady* [19. 20a] 'Жена башмачника подняла руки для молитвы, начала возносить мольбы'; *şimâl jeli âsä başlady* [19. 55a] '...начал дуть северный ветер'.

Формы *-(j)A dur-* и *-(j)A jory-*, выступающие в текстах чаще всего как основы собственно настоящих времен изъявительного наклонения, технически и семантически также принадлежат к совокупности аспектуальных средств изучаемого языка, поскольку, обладая видовым значением акциональной насыщенности (прегнантности), развившимся, скорее всего, на базе акционсартового значения континуативности, процессности, они, судя по следующему примеру, были способны использоваться не только в качестве финитных форм: *kâfâsini basaduran Mysruñ issi sultân bânäm* [18. 135a] 'Я тот султан, владетель Египта, который (все время, постоянно) заставляет перевешивать свою чашу весов'.

Конструкция *-dy durur* на основании имеющегося материала может быть истолкована как форма с посттерминальным видовым значением, а поскольку она в обоих примерах имеет еще и темпоральное значение прошедшего времени, ее, возможно, следует трактовать как разновидность перфекта: *bogazyna dâgin dutuldy durur, kujamaz mâla, cân târkini ugur* [18. 36a] '(Кора) оказался поглощенным (землей) по самое горло. Не может посягнуть на добро, прощается с жизнью'; *bulag gâldi daruja, şâri'at dutdy durur* [18. 786] 'Эти пришли служить, приняли шарият'.

Форма *-(j)A gâl-* имеет акционсартовое качественное значение, характеризующее действие как энергичное, резко проявляющееся: *ujani gâlür Zâlixâ ujudan* [21. 23] 'Зелиха вдруг просыпается ото сна'; *duru gâlür, Jûsufy öpâr kuçar* [21. 29] 'Быстро встает, целует и обнимает Юсуфа'; *görâsin aňsuzyn ol çyka gâlür* [18. 21a] 'Увидишь, как вдруг появляется он; iki fâriştâli inâ gâlâ karşuğa dura [18. 204a] 'Вдруг спускаются два ангела, становятся перед тобой'.

Форма *-(j)A git-*, судя по единственному зарегистрированному нами примеру, вполне могла иметь наблюдаемое в современном турецком языке значение «монотонно развертывающегося действия» [23. С. 228]: *qujâmâtâ dâgin jer juty gidâr* [18. 36a] 'До самого страшного суда земля продолжает его (Кору) заглатывать'.

Форма *-dy gitdi* в следующем примере очень напоминает соответствующую конструкцию современного турецкого языка, имеющую значение полной завершенности действия [24. С. 210]: *ki jüz biñ jögrügi cömârd är utdy, bu mäjdân öñdülin ol aldy gitdi* [18. 406] 'Поскольку щедрый муж (пожертвовавший всем земным для достижения божества) опередил сотню тысяч быстроногих, он забрал приз этого состязания'.

Форма *-(j)A kal-/dy kaldy* функционирует с качественным акционсартовым значением полного завершения процесса, переходящего в статическое состояние производителя [25]: *boşu xajli zamândur joly almuş, kimâsnâ izlâmâjür gizlânü kalmuş* [18. 26a] 'Злоба давно уже преодолела свой путь. (Хотя) никто ее не преследовал, она спряталась (и затаилась)'; *kamu vaşıy ü 'arzyhâli oldy, 'aql nâ dedisâ göz jumdy kaldy* [18. 516] '(Человек) произнес все похвалы и просьбы. На все, что сказал разум, он зажмурил глаза (т. е. все покорно принял)'; *kimdür ki any gögübân gizlânükaldy aḥvâli?* [18. 143a] 'Кто тот, чей восторг при виде его (бога) остался утаенным?' Ср.: *xalifâ Mâlikün ârliginâ daḡa kaldy* [26. 526] 'Халиф застыл от изумления перед мужеством Мелика'.

Способность «модифицирующего» глагола *kal-*, имеющего при полнозначном использовании значение «оставаться», сочетаться не только с деепричастной основой, но и с финитной формой «смыслового» глагола, является, как нам представляется, свидетельством того, что грамматическая специализация этого элемента, сопровождаемая эволюцией, перерастанием вещественного значения в служебное грамматическое, в представляемую памятниками эпоху зашла уже так далеко, что он мог функционировать как самостоятельный морфологический показатель.

Форма *-(j)A ko-* обнаруживает значение доведения до состояния, наступающего в результате совершения действия, называемого исходной основой: *asa kojalar tâpün ijijâ, gälâ kuşlar bâjnüñi ala jejë* [21. 43] 'Подвесьте свое тело (и будут его так держать), пока оно не засмердит. Прилетят птицы, будут клевать твой мозг'; *anuç masaly bir süñü agâsuna bânzâr kim günâşâ bârâbâr dikâ kojalar: âgâr any azkinâk agârlârsâ gölgâsi javlak uzanur, âgâr çok âgârlârsâ gölgâ kysalur, dibinâ jygylur* [19. 996] 'Притча об этом напоминает столб, который устанавливают против солнца: если его наклоняют немного, его тень удлиняется, если сильно наклоняют, тень укорачивается, стягивается к его основанию'. Ср. также: *gerü çömlâgi örtâ kody* [27. 536] 'Снова прикрыл горшок'; *Şaḡaty ajagypdan asa kodylar* [26. 2186] 'Шатата подвесили за ноги'.

Форма *-(j)A ver-*, которую П. И. Кузнецов, изучавший ее на современном турецком материале, называет «аспектом внезапности» [23. С. 220—222], едва ли имела в староанатолийско-тюркском языке в своем значении сему, которая сигнализировала бы, как это имеет место в некоторых других древних тюркских языках [28. С. 198], о том, что действие совершается в интересах кого-либо другого [29. С. 376—378]. Правда, следует признать, что такая сема воспринимается как вполне вероятный и естественный результат эволюции вещественного значения глагола *ver-* 'давать' на пути его грамматизации. Однако то обстоятельство, что данная форма используется как в таких высказываниях, где упомянута сема в принципе может присутствовать (примеры 1—3), так и в таких, в которых ее наличие представляется невозможным

(4 и 5), дает основание полагать, что значение формы само по себе индифферентно к наличию или отсутствию в передаваемом смысле оттенка «в интересах кого-либо другого» и, следовательно, лишено обсуждаемой семы: 1) *saḡa äjdürsä kimün oglıysun, äjdi vergil aḡasözün doggıysun* [21. 74] 'Если он спросит, чей ты сын, ты сразу скажи ему правду'; 2) *Ja'qûbäjdür: big bu kâz varuḡ, ol kumaşy jinâ ilâdi verün* [21. 69] 'Якуб говорит: «Сходите еще и в этот раз, отнесите-ка снова ту ткань»'; 3) *tâḡriçün i uslular! gônüm baḡabuly verün* [18. 966] 'Ради бога, о мудрые! Найдите мне мое сердце!'; 4) *kulagy işidân şâklini görmâz ki görmâk ady aḡa uju vermâz* [18. 466] 'Тот, чьи уши слышат, не видит, как устроен мир, потому что (действие) «видеть» ему вообще не подходит'; 5) *ol dôst bizâ gâlmâz isâ bân gerü varajyn, çâkâjin câvr û câfâjy, dôst jüzin görâ verâjin* [18. 151a] 'Если друг не придет к нам, я возвращусь к другу, перенесу все обиды и притеснения, (во что бы то ни стало) увижу лик друга!'

Исследуемый материал подтверждает точку зрения, согласно которой рассматриваемая форма имеет в староанатолийско-тюркском языке то же значение, что и в современном турецком языке [27. С. 183], — такое, посредством которого она способна выражать «быстроту, стремительность, легкость совершения действия, обозначенного первой основой глагола» [24. С. 209]. Все многочисленные качественные и количественные характеристики действий, которые способна передавать эта форма в качестве смыслов в текстах изучаемых памятников и в современной турецкой речи [23. С. 222], как представляется, вполне могут обслуживаться одним акционсартовым качественным значением — динамичности (=энергичности, резкости, напористости) действия.

Анализ сложновербальных конструкций с аспектуальными (видовыми и акционсартовыми) значениями приводит к следующим выводам:

1. Рассмотренные сложновербальные конструкции в разной степени грамматизованы, но подавляющее большинство этих образований представляет собой словоизменительные грамматические формы, и их совокупность на основе родственности значений может трактоваться как категория аспектуальности.

2. Поскольку в языке не удастся обнаружить каких-либо формальных или функциональных признаков разграничения видовых и акционсартовых значений, то, если признается правомерность тезиса о родстве тех и других значений, нет оснований ставить вопрос о выделении двух грамматических категорий — вида и способа действия. Вопреки онтологическому различию между видовыми и акционсартовыми значениями, оно игнорируется языком, и эти значения ведут себя как однородные.

3. У тюркской категории аспектуальности отсутствует конституэнт с нулевым формообразовательным показателем.

4. Тот факт, что акционсартовые формы несут в текстах относительно слабую функциональную нагрузку и встречаются довольно редко, свидетельствует, что не может быть и речи о том, чтобы какая-либо из них охватывала бы все множество глаголов и являлась тотальной [23. С. 220—229], хотя грамматичность (в данном случае — причастность к словоизменению) как видовых, так и акционсартовых форм не может вызывать сомнений. Следовательно, устройство и функциональные особенности категории аспектуальности находятся в противоречии с тезисом, согласно которому грамматическая категория непременно является тотальной или, по крайней мере, характеризуется широким охватом лексем данной части речи [1. С. 9—10], и дают основание

сомневаться в правомерности признания тотальности обязательным условием грамматичности.

5. Из сказанного в пункте 4 следует, что едва ли оправданна наметившаяся в аспектологии тенденция связывать разграничение видов и способов действия с грамматичностью первых и неграмматичностью вторых [3. С. 8—9].

6. Если согласиться с утверждением славистов о том, что акционсартовые значения в славянских языках входят в состав лексических значений глаголов (Э. Кошмидер и др.) [1. С. 10], и сопоставить его со сформулированным в настоящей статье мнением, что носителями акционсартовых значений в изучаемом языке (так же, как и в других тюркских языках) выступают словоизменительные формы, то напрашивается следующий типологический вывод: акционсартовые характеристики действий могут в качестве сем входить в состав лексических (точнее, вещественных) значений глаголов, но могут быть и самостоятельными служебными грамматическими значениями.

7. Подобно некоторым другим служебным грамматическим значениям (множественности, принадлежности, родительного, винительного и дательного падежей) [30. С. 68—102] видовые и акционсартовые значения в староанатолийско-тюркском языке не являются облигаторными и обладают способностью вступать или не вступать в действие в зависимости от коммуникативных условий и намерений говорящего.

8. Вопреки высказанному в аспектологической литературе критическому или скептическому отношению к идее о субъективном характере видовых и об объективности акционсартовых значений [1. С. 11; 31. С. 22—23], эта идея в свете предложенного в настоящей статье истолкования тюркской категории аспектуальности представляется рациональной и перспективной. Виды как оязыковленные идиоэтнические формы репрезентации действий, формирующиеся, как уже было сказано, скорее всего, на базе представлений о способах действия, т. е. о его свойствах и фазах, действительно являют собой более высокий, чем способы действия, уровень абстракции [31. С. 23]. В этом смысле они, разумеется, более субъективны, чем акционсартовые значения, носящие более конкретный характер и соотнесенные с объективно существующими свойствами процессов. Целесообразно не отвергать различие видов и способов действия по линии «субъективность—объективность», а стремиться к более глубокому выявлению этого различия и, возможно, к замене терминов «субъективный» и «объективный» на более удачные.

9. Категория аспектуальности включает в себя отнюдь не все сложновербальные образования языка. Сложновербальные формы распределяются по различным словоизменительным категориям глагола [14. С. 270]. Так, формы $-(j)A\ dur(ur)$, $-(j)A\ joğur$, $-(j)ur\ dur(ur)$ тяготеют к категории времени изъявительного наклонения, формы $-(j)A\ bil-$ и $-(j)A\ ma$ входят в категорию статуса [32. С. 33—38]. Имеются образования, включение которых в любую из названных трех категорий представлялось бы автору настоящего исследования спорным. Речь идет о конструкциях $-(j)A\ g\ddot{o}r-$ со значением попытки, усилия, прилагаемого для совершения действия [22. С. 267; 8. С. 124; 27. С. 183] (*bu dävrandan ötä gör, kärvan gitdi jetä gör* [18. 79a] 'Стремись отринуть эту жизнь! Караван ушел—постарайся догнать'); $-(j)A\ jaz-$ со значением «недействительного наклонения», которое сигнализирует о том, что действие едва, чуть не совершилось (*Mälik Dänuşmänd tapసుnyklanur atdan iykyly jazdy* 26. 86a] 'Мелик Данышменд закачался и чуть было не рухнул с лошади'); $-(j)acak\ ol-$ и $-(j)asy\ ol-$, имеющие значение намерения совершить действие (*ägär bir gün ol jedügi*

çanaga vâ bardaga dâgâcâk olur isân agac ilâ başuñ çanagun uvada [27. 30a] 'Если ты когда-нибудь вздумаешь коснуться миски и стакана, из которых он ест, он бревном раскроит тебе череп'; suja çökâsi olur isâm xôd dâxu jîjni olur [27. 47a] 'Если я решу опуститься в воду, то (груз) ведь станет легче'.

Приведенные факты свидетельствуют о том, что существует проблема отграничения форм категории аспектуальности от форм с неаспектуальными значениями. С функционально-семантической точки зрения, она сводится к более частной проблеме — к обоснованию, является или не является то или иное служебное значение сложновербального образования аспектуальным.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ См., например: Маслов Ю. С. Вопросы глагольного вида в современном зарубежном языкознании//В кн.: Вопросы глагольного вида. М., 1962.

² Он же. Система основных понятий и терминов славянской аспектологии//В кн.: Вопросы общего языкознания. Л., 1965.

³ Он же. Очерки по аспектологии. Л., 1984.

⁴ Бондарко А. В., Буланин Л. Л. Русский глагол. Л., 1967.

⁵ Грунина Э. А. Индикатив в турецком языке: В сравнительно-историческом освещении: Автореф. дис. ...д-ра филол. наук. М., 1975.

⁶ Кузнецов П. И. Аспект и акционал в турецком языке//Сов. тюркология. 1975 № 3.

⁷ Насилов Д. М. Еще раз о виде в тюркских языках: К истории вопроса//В кн.: Turcologica: К семидесятилетию акад. А. Н. Кононова. Л., 1976.

⁸ Он же. Формы выражения способов глагольного действия в алтайских языках: В связи с проблемой глагольного вида//В кн.: Очерки сравнительной морфологии алтайских языков. Л., 1978.

⁹ Johanson L. Aspekt im Türkischen. Vorstudien zu einer Beschreibung des türkeitürkischen Aspektsystems. Uppsala, 1971.

¹⁰ Якобзон Г. [Рецензия]//В кн.: Вопросы глагольного вида. М., 1962. Рец. на кн.: Якоб Вакернагель. Лекции по синтаксису.

¹¹ Хейде К., ван дер. Введение к работе «Глагольный вид в латинском языке. Проблемы и выводы»//В кн.: Вопросы глагольного вида. М., 1962.

¹² Эти не совсем удачные термины фигурируют в названиях двух наиболее известных монографий, посвященных сложновербальным конструкциям [13; 14].

¹³ Михайлов М. С. Исследования по грамматике турецкого языка: Перифрастические формы турецкого глагола. М., 1965.

¹⁴ Юлдашев А. А. Аналитические формы глагола в тюркских языках. М., 1965.

¹⁵ Д. М. Насилов, например, справедливо указывает на правомерность отнесения к числу акционсартовых не только «аналитических», но и «перифрастических» форм [16. С. 93—97].

¹⁶ Насилов Д. М. К вопросу о перифрастических формах глагола в древнетюркских языках//Вопр. языкознания. 1960. № 3.

¹⁷ Кошмидер Э. Очерк науки о видах польского глагола: Опыт синтеза//В кн.: Вопросы глагольного вида. М., 1952.

¹⁸ Gölpınarlı A. Yunus Emre. Risâlat al-Nushiyya ve Dîvân: Önsöz—Lûgat—Açıklama. İstanbul, 1965.

¹⁹ Zajaczkowski A. Studja nad językiem staroosmańskim. W Krakowie, 1934. 1: Wybrane ustępy z anatolijskotureckiego przekładu Kalili i Dimny.

²⁰ Ср.: Кузнецов П. И. Категория вида в турецком языке: Видовые разряды//В кн.: Иностранные языки: Сб. ст. М., 1968. № 4.

²¹ Dilçin D. Şeyyad Hamza. Ünsûl ve Zeliha. İstanbul, 1946.

²² Ср.: Кононов А. Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. М.; Л., 1960.

²³ Кузнецов П. И. Категория вида в турецком языке: Видовые аспекты//В кн.: Иностранные языки: Сб. ст. М., 1966. № 2.

²⁴ См.: Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. М.; Л., 1956.

²⁵ Сходную форму современного турецкого языка П. И. Кузнецов интерпретирует как «аспект состояния, „оцепенения”» [23. С. 225—226].

²⁶ *Qyssa-i Mälik Dânişmänd*: Ленингр. список (ГПБ).

²⁷ *Korkmaz Z. Sadru'd-din Şeyhoğlu. Marzubân-nâme tercümesi: Inceleme—Metin—Sözlük—Tıpkibasım*. Ankara, 1973.

²⁸ См., например: *Кононов А. Н.* Грамматика языка тюркских рунических памятников VII—IX вв. Л., 1980.

²⁹ *Kleinmichel S.* Untersuchungen zu phonologischen morphophonologischen und morphologischen Problemen in: *Marzubân-nâme: Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades doctor philosophiae...* Berlin, 1970.

³⁰ *Гузев В. Г.* Очерки по теории тюркского словоизменения: Имя: На материале староанатолийско-тюркского языка. Л., 1987.

³¹ *Серебрянников Б. А.* Категории времени и вида в финно-угорских языках пермской волжской групп. М., 1960.

³² *Гузев В. Г.* Категория статуса в староанатолийско-тюркском языке//В кн.: *Востоковедение: Межвузов. сб. Л., 1986. Т. 12: Филологические исследования.*

В. И. СЕРГЕЕВ

МНОГОЗНАЧНОСТЬ СЛОВА И КОНТЕКСТНАЯ СЕМАНТИКА

(ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ ПОЛИСЕМОВ)

Лексикографическая характеристика некоторых групп лексических единиц (особенно многозначных слов) в толковых и переводных двуязычных словарях не всегда полна [1. С. 19]. Зависит это прежде всего от того, что составители каждый по-своему распоряжаются «судьбами» слов. Но основная причина, на наш взгляд, заключается в неразработанности вопроса многозначности слова. Необходимо знать условия употребления данной языковой единицы в речи и ее валентные свойства [2].

Понятие валентности тесно связано с понятиями дистрибуции и контекста, ибо все множество контекстов, в которых может встречаться слово, составляет его дистрибуцию. Языковой контекст, в свою очередь, — это внутрилингвистические условия употребления данной языковой единицы, образуемые окружением из других языковых единиц (в рассматриваемом нами случае — слов. — *З. С.*).

Известно, что многозначность снимается только контекстом и что в словаре она может быть передана подачей всевозможного окружения того или иного слова. Привлекая разнообразный языковой материал, в котором употребляется интересующее исследователя то или иное слово, семасиолог-лексикограф способен извлекать из этого материала более разнообразную информацию о его значении. Контекст (шире — текст) может рассматриваться как первичная реальность, содержащая в себе семантическую характеристику слова с синтагматической точки зрения [3. С. 43], ибо в синтагматических связях слов фиксируются результаты познавательной деятельности людей, содержатся разнообразные сведения о значении слова. Синтагматические связи слов в то же время помогают устанавливать «однозначность» полисема в данном контексте.

В настоящее время предпринимаются попытки полного описания полисемантов, руководствуясь принципом эксперимента. Установленный Л. В. Щербой принцип дистрибутивного эксперимента с участием носителя языка позволяет получить представительную эмпирическую базу исследования: «Не ожидая того, что какой-то писатель употребит тот или иной оборот, то или иное сочетание, можно произвольно сочетать слова и, систематически заменяя одно другим, меняя их порядок, интонацию и т. п., наблюдать получающиеся при этом смысловые различия» [4. С. 32]. В современной лексикографии этот принцип известен как субституционный эксперимент, при котором исходят из интуитивного знания возможных употреблений лексической единицы — вплоть до искусственного образования контекстов, отвечающих языковой норме,

В данной статье показано варьирование значений слова *йывăç* 'дерево' в чувашском языке в зависимости от контекста.

В «Чувашско-русском словаре» [5] интересующее нас слово представлено в следующих значениях: 1. Дерево//деревянный, древесный; 2. Лес, лесоматериалы; 3. перен. Деревянный, безжизненный, невыразительный. Естественно, будучи включено в словарную статью как полисемант, оно снабжено иллюстративным материалом. Однако материал этот (назовем его словарным контекстом) «пестрит» разнородными примерами без соответствующего толкования (дифференциации) их значения.

Например, в рубрике 1 в качестве иллюстративного материала приведены следующие словосочетания: *сыпакан йывăç* 'подвой' и *сыпмалли йывăç* 'привой'. Естественно, возникает вопрос: должен ли данный иллюстративный материал фигурировать в этой рубрике или он займет соответствующий раздел далее? Ведь основное значение лексемы *йывăç* трактуется как «многолетнее растение с твердым стволом и отходящими от него ветвями, образующими крону» [6. С. 156]. Понятие одеревок как «растения с твердым стволом и ветвями, образующими крону», закреплено в сознании всех носителей чувашского языка, в данном случае под контекстом слова *йывăç* можно понимать знак, взятый сам по себе, но значения 'подвой, привой' реализуются только в определенном языковом контексте; отдельно взятые слова *сыпмалли* и *йывăç* не передают этого значения. Получается, что слово *йывăç* в первом случае является авторсемантическим, а во втором (в словосочетаниях типа *сыпмалли йывăç* 'привой', *лартмалли йывăç* 'саженец') — синсемантическим, выявляющим свое значение только в связи с другими словами. Не свидетельствует ли это о том, что «практика семантических исследований обнаруживает бесплодность рассуждений по поводу изолированных фактов; для прогресса в области теоретической семантики необходимо изучение систем взаимосвязанных единиц» [7. С. 165].

На наш взгляд, значения слова *йывăç*, в том виде, как они представлены в двуязычном «Чувашско-русском словаре», далеко не исчерпывают всей лексической семантики данной единицы.

С учетом того, что значения слов возникают, закрепляются и функционируют в языковой системе, рассмотрим примеры фактического употребления слова *йывăç* и некоторые случаи изменения его лексико-семантической сочетаемости в тексте. При этом будем придерживаться словарной формы подачи материала: на первое место выносится значение слова, а затем следует пример. Прямое номинативное значение слова *йывăç* 'дерево' и два других значения 'лес' и 'деревянный' — 'безжизненный', поскольку они приведены в словаре, опускаются, и нумерация начинается с цифры: 4. Древесина; *касас пулсан унран 35 м³ паха йывăç тухмалла* [8. С. 129] 'если срубить, то из него вышло бы 35 м³ отличной древесины'; 5. Дрова; *кăмкара кирек мёнле йывăç та сунать* [9. С. 23] 'в печке сгорают любые дрова'; 6. Бревно (бревна); *пуртлех йывăç* 'бревна для строительства дома'; 7. Яблоня; *йывăçсинчен улми аякка йкмест* 'яблоко от яблони далеко не падает' [5]. 4. С. 297]; 8. Плот (лес); *йывăç юхтар* 'сплавлять плоты'; 9. Жерди; *хăмла йывăçси* 'жерди для хмеля'; 10. Швырок; *татса сурна йывăç* 'швырок'; 11. Диал. гроб; *йывăç ту* 'сколотить гроб' 12. Доски; *сурна йывăç* 'доски' и т. д.

Слово *йывăç* обладает чрезмерно широкой валентностью, которая может использоваться как показатель многозначности слова, т. е., чем шире лексическая и синтаксическая сочетаемость слова, тем многозначнее оно может быть. Исходя из изложенного, можно сказать, что при исследовании многозначности слова на первое место выдвигается изу-

чение синтаксических связей слова, обуславливающих его семантическую структуру. Иначе говоря, семасиологическое исследование конкретного слова начинается на синтагматическом уровне, поскольку лишь синтаксический ряд представляет собой то, что поддается непосредственному наблюдению и анализу.

Контекстуальное исследование значения слова обусловило появление в семантике дистрибутивного метода, который ценен тем, что применим также при исследовании полисемии слова и основывается на органической связи семантики и синтаксиса.

В современном отечественном языкознании изучение значения слова (условно) ведется в двух направлениях. Представители первого рассматривают значение слова как знак языка, понимая под ним сплошное недискретное семантическое пространство, независимое от контекста, и признавая тем самым автосемантическую природу слова. Представители другого направления — сторонники синсемантической теории слова — изучают значение слова в речи, в процессе общения, и определяют его эксплицитно, через «совокупность потенциальных типовых сочетаний, в которых фиксируется область исследования данного слова» [10. С. 125]. Первое направление называют традиционным, генетическим подходом к исследованию семантики. При этом подходе объектом изучения якобы оказывается значение слова на диахронической оси, а при функциональном — синхронический срез «семантической жизни слова». Однако исследователи почему-то забывают, что диахрония или синхрония — это не историческая действительность языка. Выделение их, на наш взгляд, — весьма условно. Поэтому выделяемый синхронический срез есть следствие диахронических процессов и специфические диахронические изменения в семантике могут быть поняты лишь при обращении к диасинхроническим отношениям. Получается, таким образом, двуединство: диахрония (прерывность) + синхрония (прерывность) → диасинхрония (непрерывность), т. е. те значения *йыва́с*, которые мы выявляем сейчас на основе синтагматических связей этого слова с другими, — продукт диасинхронии. Такие значения утвердились в языке с незапамятных времен, и их можно выявить контекстуально средствами современного языка. Немаловажное значение в этом случае приобретает и наблюдение над употреблением слова носителями языка.

То или иное значение слова может быть правильно определено лишь на основании анализа и обязательного последующего синтеза множества отдельных употреблений. Поскольку наличие столь разных значений слова *йыва́с* нигде не зафиксировано, необходима, как мы полагаем, проверка правильности наших индивидуальных наблюдений. Как считал Л. В. Щерба, «нельзя ограничиваться простым собиранием материала. Но, построив из фактов этого материала некую отвлеченную систему, необходимо проверять ее на новых фактах, т. е. смотреть, отвечают ли выводимые из нее факты действительности. Таким образом, в языкознании вводится принцип эксперимента. Сделав какое-либо предположение о смысле того или иного слова... следует пробовать, можно ли сказать ряд разнообразных фраз (который можно бесконечно множить), применяя это правило» [4. С. 31—32].

Субъективный опыт позволяет не только наблюдать, но и экспериментировать. Как подчеркивает О. Н. Селиверстова, «введение этого принципа имеет чрезвычайно важное значение: оно дает критерий для оценки истинности семантического описания и тем самым сближает методику семантических исследований с методикой точных наук» [11. С. 168].

Введенный Л. В. Щербой принцип эксперимента представляет

собой прежде всего процесс выведения значения из наблюдаемых в языке фактов употребления. Об этом писали до и после Л. В. Щербы и другие исследователи. Вот что сказал о целесообразности такого пути исследования значения слова Б. Рассел: «Слово имеет значение (более или менее неопределенное), но это значение можно установить только через наблюдение над его употреблением, употребление дано первым, и значение извлекается из него» (цит. по: [11. С. 167]).

Для проверки этого положения мы провели два эксперимента. В первом, который был проведен в 1985 г., участвовало 68 студентов чувашского отделения историко-филологического факультета Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова.

Цель эксперимента: 1) проверить, насколько изменение лексической и синтаксической сочетаемости (шире — дистрибуции) слова создает условия для выявления его значения; 2) установить, насколько соотношение индивидуального и коллективного языкового опыта, определяющего выбор тех или иных эквивалентов, противоречит или способствует выявлению смысловых различий одной и той же проверяемой лексемы *йывăç* 'дерево'.

Первая проверка: 1) на уровне перевода с чувашского на русский язык; испытуемым 38 студентам был предложен набор предложений и словосочетаний, содержащих анализируемое слово *йывăç*; 2) на уровне эквивалента: испытуемые (30 чел.) в тех же текстах должны были заменить слово *йывăç* его смысловыми эквивалентами из одного слова на чувашском же языке. Первая группа студентов должна была найти в каждом предложении или словосочетании однословные эквиваленты слова *йывăç* в русском языке (через перевод), вторая — однословные смысловые эквиваленты в чувашском языке. В первом случае, таким образом, речь шла о «межъязыковой синонимии» (словах двух языков с общим предметно-логическим значением), а во втором — о внутриязыковой синонимии (или, точнее, — о квазисинонимии).

Сопоставительные исследования синонимических рядов чувашского и русского языков имеют большое значение как для теории, так и для практики. Их, на наш взгляд, можно рассматривать как начальный этап системного анализа лексики. С учетом того, что всякая синонимия есть эквивалентность, нами в качестве рабочего термина для обозначения равнозначных соответствий лексических единиц чувашского и русского языков, которые обладают сравнимыми функциональными характеристиками, употребляется слово «эквивалент».

В целях экономии места чувашский текст, приведенный ранее, не дублируется; указан лишь порядковый номер значений, которые взяты из соответствующего текста под тем же номером.

Например, под № 4 приведено значение 'древесина' лексемы *йывăç*; далее в каждом случае будут представлены лишь данные экспериментов 1, 2, а также пояснения к ним:

4. Древесина:

Эксперимент I: стройматериал (11) [12], дрова (7), дерево ценное (7), древесина (3), бревно (2), доски (2), сруб (1).

Эксперимент II: доски (7), дрова (6), бревно (4), стройматериал (4), столб (1), сруб (1), тес (1).

Могут возникнуть опасения, что станет исследоваться лишь «речевая система индивидуума», а отнюдь не языковая система. Но такое мнение опровергал в свое время Л. В. Щерба: «Ведь индивидуальная речевая система является лишь конкретным проявлением языковой системы, а поэтому исследование первой для познания второй вполне закономерно...» [4. С. 34].

Знание мира и его видение у разных индивидуумов не совпадают. Однако в то же время есть некоторая сумма знаний, которая является общей для всех людей, имеющих примерно одинаковый культурный уровень. Поэтому то или иное значение обще для большинства носителей языка, а некоторые из них суть продукт индивидуального осмысления.

Вернемся к значениям, зафиксированным в ходе экспериментов в рубрике 4.

Анализируя «субъективные данные» одного примера, можно прийти к выводу, что в пределах лексемы *йывайс* наблюдается деривация значения 'дерево—древесина—материал' и 'дерево⇒дрова'. Значение 'сруб' (сооружение из четырехугольных венцов бревен) — это также звено в цепи его развития: 'дерево→материал→предмет из дерева (сооружение)'.¹

Значение 'стройматериалы' в рубрике 4, по данным двух экспериментов, занимает первое место с общим количеством ответов 15, на втором месте значение 'дрова' (13), далее идут 'доски' (9), 'бревно' (6), 'древесина' (3), 'сруб' (2), 'тес' (1).

Опросы были проведены и среди преподавателей-филологов. В эксперименте участвовало пять человек; слово *йывайс* в том же предложении было заменено эквивалентами.

Эксперимент I: древесина (3), материал (2).

Эксперимент II: материал (1), бревно (1), дрова (1), дуб (1), фундамент (1).

Как видно, «число погрешностей» не только не уменьшилось, но, наоборот, увеличилось: зафиксированы новые эквиваленты слова *йывайс*—'дуб' и 'фундамент'. Но и эти значения не стоят вне цепи последовательности развития: дуб (это) дерево (видовое название дерева—родовое название); другая последовательность развития имеет следующий вид: дерево→материал→предмет (фундамент). Как мы знаем, *никёс* 'фундамент' — 1) четыре стула по четырем углам избы с положенными на них первыми бревнами (первым венцом); 2) кряжи (дубовые.—В. С), которые кладут в основание дома [5¹. 9. С. 22]. т. е. *никёс* 'фундамент' — это те же самые бревна, что и в срубе, но только положенные первым венцом (в фундамент раньше клали дубовые бревна, причем на дубовые стулья). Здесь развитие значения слова *йывайс* 'дерево→материал→предмет' обусловлено экстралингвистическими факторами.

Почти те же значения слова были выявлены при эквивалентизации слова *йывайс* в представленном в пункте 6 словосочетании *пёртлэх йывайс*:

6. Бревна (стройматериал):

Эксперимент I: бревно (17), материал (4), дерево (5), лес деловой (1), дрова (1), сруб (1).

Эксперимент II: бревно (20), сруб (2), лес (1), доски (1), материал (1).

Судя по приведенным данным, словозначение 'бревно' (37) получает самую большую частотную эквивалентную характеристику, затем идут 'материал' (5), 'дерево' (5), 'сруб' (3), 'лес' (2), 'дрова' (1), 'доски' (1).

При повторном (проверочном) эксперименте были получены следующие результаты:

Эксперимент I: лес (2), сруб (1), материал (1), стройматериал (1).

Эксперимент II: бревна (4), дерево (1), лес (1), доски (1). [13].

Такая повторяемость значений лексемы *йываџ* свидетельствует о закономерном характере деривации в пределах одной и той же лексемы, однако эти семантические сдвиги выявляются лишь в контексте. Следовательно, отдельно взятое слово *йываџ* не может быть охарактеризовано как «сверхмногозначное».

Как видно, денотативные ситуации и лингвистические контексты (а тем самым и слово *йываџ*) допускают разную интерпретацию. В этом легко убедиться, анализируя экспериментальные данные. Возьмем, например, следующий пункт:

5. Дрова: *камакара кирек мёнле йываџ та сунать* 'в печке сгорают любые дрова':

Эксперимент I: дерево (20), дрова (12), полено (2).

Эксперимент II: дрова (25), полено (4), щепки (1).

Семантическая эквивалентная частотность слова *йываџ* в данном случае представляется следующим образом: дрова (37), дерево (20), полено (6), щепки (1).

Данные повторного эксперимента:

Эксперимент I: дрова (3), дерево (2).

Эксперимент II: дрова (3), полено (2).

Нетрудно догадаться, что здесь имеет место деривация словозначений 'дерево→дрова⇌полено'. Дерево издревле применялось как топливо. Между словозначениями 'дрова' и 'полено' существует тесная связь, ибо полено — это кусок распиленного и расколотого дерева (бревна) для топки. Такая же связь обнаруживается между значениями 'дрова, полено→щепка (щепка)', поскольку щепка (щепка) определяется как «отщепленная, отесанная, отколотая мелочь древесная» или «тонкая пластинка, отколотая по слою распиленного дерева».

Деривацию значений 'дерево→дрова⇌полено' можно наблюдать при эквивалентизации слова *йываџ* в заданном контексте *татса сурнай йываџ*:

10. Швырок:

Эксперимент I: полено (17), дрова (10), дерево (5), бревно (2), палка (1).

Эксперимент II: полено (18), дрова (8), доски (2), бревно (2).

Семантическую эквивалентную частотность слова *йываџ* можно представить в виде таблицы [14]:

Значение слова	Эксперимент I	Эксперимент II	Итого
1	2	3	4
Дерево	334	9	343
Дрова	155	143	298
Бревно	91	81	172
Доска	33	82	115
Палка	56	51	107
Лес	37	36	73
Полено	26	36	62
Яблоня	29	34	63
Сук, ветка	20	58	78
Куст, кустарник	25	37	62
Жердь, шест	22	39	61
Щепка	16	23	39
Строительный материал	31	6	37
Росток	—	26	26

1	2	3	4
Подпорка	8	14	22
Пень (пенек)	2	20	22
Лубок	14	6	20
Плот	14	—	14
Столб	3	9	12
Мост	—	11	11
Дубина	10	—	10
Хворост, валежник	—	9	9
Шина	—	8	8
Сруб	2	5	7
Корень	—	6	6
Деревяшка	3	—	3

Как видно, если не учитывать прямое номинативное значение лексемы *йывăç* 'дерево', то по частотности употребления на первом месте стоят 'дрова' (пиленые и расколотые деревья, употребляемые как топливо), на втором — 'бревно' (очищенный от веток и без верхушки ствол срубленного большого дерева), на третьем — 'доска' (плоский с двух сторон кусок дерева небольшой толщины, получаемый путем продольной распилки бревна), на четвертом — 'палка' (срезанный тонкий ствол или толстая ветка без сучков), на пятом — 'лес' (большой участок земли, заросший деревьями), на шестом — 'полено' (кусок распиленного и расколотого для топки бревна), на седьмом — 'яблоня' (фруктовое дерево из семейства розовых) и т. д.

Все приведенные значения так или иначе связаны с понятием «дерево», а отдельные значения связаны друг с другом уже через это понятие. Например: бревно — ствол большого срубленного дерева; жердь — шест из тонкого, длинного срубленного ствола; шест — длинная палка, жердь; палка — срезанный тонкий ствол или толстая ветка и т. д.

Индивидуально выявленные нами контекстуальные значения слова *йывăç* подтвердили около 50% участвовавших в эксперименте. Только контекстуальные условия позволяют однозначно (или неоднозначно) воспринимать значение полисема *йывăç*. «Отрицательные результаты» позволяют сделать вывод, что в одном и том же контексте слово, в зависимости от индивидуального осмысления, получает разную смысловую интерпретацию.

Если словосочетания и предложения условно назвать микроконтекстом, то появляется необходимость введения в лингвистический обиход термина макроконтекст. В микроконтексте значения слов выявляются непосредственно из данных словосочетаний и предложений, тогда как в макроконтексте (экстралингвистическом контексте) решающим фактором является предварительное знание реалий, которое можно назвать пресуппозицией [3. С. 56—61]. Так, например, никто из участников экспериментов синтагму *йывăç ту(рăмăр)* не перевел так, как указано в № 11. *Йывăç* в данном сочетании встречается лишь в диалекте деревни Мыртынкино Аликовского района Чувашской АССР и представляет собой узкодиалекальное явление. С другой стороны, при осмыслении данной синтагмы необходимо знание реалий. Развитие значения слова *йывăç* 'дерево→гроб' прослеживается лишь в том случае, если мы обратимся к реалиям с исторической точки зрения: когда-то хоронили в деревянных гробах несбыкновенной толщины [5. XIV. 144], цельное дерево, выдолбленное особым способом, служило гробом. Без знания этих реалий уловить значение синтагмы *йывăç ту(рăмăр)* невозможно.

Итак, можно сделать следующие выводы:

а) вопрос о полисемии и синтаксической сочетаемости слова — это прежде всего вопрос номинации, т. е. перемены вещей при тождестве слова, входящего в словосочетание или предложение;

б) смысловая структура многозначного слова *йывăç* складывается из первичного основного значения 'многолетнее растение...', которое в наименьшей степени зависит от синтаксической сочетаемости, т. е. от контекста, и вторичных значений, определяемых только контекстом.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ *Гузев Ж. М.* Лексикографическая разработка многозначных слов и генетически родственных омонимов в толковых словарях тюркских языков//Сов. тюркология. 1982. № 2.

² *Бондарко А. В.* Грамматическая категория и контекст. Л., 1971.

³ *Плотников Б. А.* Основы семасиологии. Минск, 1984.

⁴ *Щерба Л. В.* О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании//В кн.: Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.

⁵ *Чувашико-русский словарь*//Год ред. М. И. Скворцова, 1982.

^{5'} *Ашмарин Н. И.* Словарь чувашского языка. Казань; Чебоксары, 1928—1950. Т. 1—17.

⁶ *Ожегов С. И.* Словарь русского языка. М., 1968.

⁷ *Вейнрех У.* Опыт семантической теории//В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. М. 1981. Вып. 10: Лингвистическая семантика.

⁸ *Чăваш календарĕ.* 1970.

⁹ *Луч Г.* Эпир те салтаксем. 1971.

¹⁰ *Звегинцев В. А.* Семасиология. М., 1957.

¹¹ *Селиверстова О. Н.* К вопросу об определении значения и методах его описания// В кн.: Тез. докл. секцион. заседаний Всесоюз. науч. конф. по теоретическим вопросам языкознания. М., 1974.

¹² Число в скобках означает количество аналогичных ответов, данных студентами во время эксперимента. Напомним: в эксперименте I участвовало 38 студентов, а в эксперименте II — 30. Иногда сумма ответов не составляла 38 или 30; это значит, что испытуемые воздержались от ответов.

¹³ Превышение количества эквивалентов значений зависит от подачи двойных значений одним и тем же испытуемым, например: *йывăç* 'бревно' и 'доски' или 'бревно' и 'лес'.

¹⁴ Выводы сделаны на основе анализа 37 предложений и словосочетаний, содержащих слово *йывăç*.

Б. И. ТАТАРИНЦЕВ

**О СПЕЦИФИКЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
В УСЛОВИЯХ ОТДАЛЕННОСТИ ЗНАЧЕНИЙ
МНОГОЗНАЧНЫХ СЛОВ**

(НА ТЮРКСКОМ ЯЗЫКОВОМ МАТЕРИАЛЕ)

Семантическая реконструкция — наиболее трудная и наименее разработанная часть этимологических исследований на материале различных языков — в последние годы, однако, привлекает к себе все большее внимание ученых [1]. Это закономерно, ибо установление реальной этимологии слова без восстановления его исходной семантики само по себе проблематично, хотя, к сожалению, в практике этимологических изысканий распространено увлечение лишь формально-фонетической реконструкцией.

Проблемы семантической реконструкции актуальны и для тюркологии, поскольку в настоящее время возрос интерес к изучению этимологии тюркских языков, реализующийся в создании ряда этимологических словарей.

В данной статье рассматривается часть общетюркских слов, этимология которых либо отсутствует, либо оказывается далеко не бесспорной. Во многом это объясняется тем, что исходный пункт и направление смысловой эволюции определить довольно затруднительно [2].

По-видимому, при реконструкции хода развития значений, установлении исходного, мотивирующего семантического признака необходимо отрешиться от некоторых привычных представлений. Рискованно, в частности, на наш взгляд, тотально переносить в прошлое представление о современной иерархии значений многозначного слова, а внутри нее соответственно — о прямых (первичных) и переносных (вторичных) значениях, тем более, что далеко не всегда применительно к полисемии можно говорить о такой иерархии, зависимости одних значений от других как в синхронии, так и в диахронии [4].

При развитой (хотя отчасти и «суммарной», поскольку имеются в виду данные ряда языков) полисемии из ряда значений можно легко выделить определенный минимум, пары значений типа 'червь'—'волк', 'белка'—'копейка', связи которых друг с другом наиболее существенны для семантической реконструкции.

В плане синхронии они либо настолько далеки друг от друга, что можно говорить об омонимии, либо, напротив, представляются очень близкими (результаты метонимических или метафорических переносов), но при детальном анализе в диахронном аспекте эта близость оказывается определенно преувеличенной.

В имеющихся работах эти «семантические пары» не всегда рассматриваются в полном объеме. Одни из входящих в них значений игнорируются как явно вторичные, а потому несущественные для заключения о первоначальной семантике слова, тогда как в подобных ситуа-

циях мы считаем необходимым уточнять, действительно ли то, что в плане синхронии выглядит очевидно вторичным, окажется таковым и в диахронии. В других случаях один из компонентов подобных пар отбрасывается как гетерогенно-омонимический; однако порой нужно доказывать, что это явление омонимии, причем омонимы гетерогенны.

Если же такие пары и рассматриваются в полном объеме, то связи и отношения между их членами (компонентами) остаются до конца непроясненными или их анализ не играет значительной роли в раскрытии этимологии слова, слабо сочетаясь с анализом его морфологической структуры.

Обратимся к конкретному материалу, где наиболее интересны, на наш взгляд, названия животных. Как известно, для них весьма характерна метафоризация, употребление в переносных значениях. Поэтому можно понять тех исследователей, которые семантику 'зверь, животное (конкретное)' во всех случаях склонны считать первичной и исходить именно из нее. Так, общетюркское название лисы (*tülkü, tülki, tilki* и т. д.) имеет распространенную этимологию, истолковывающую его как результат метазеты первоначального **tükli* ~ **tüklü* < *tük* 'шерсть' + *-li* — аффикс относительных прилагательных [6], однако эта версия выглядит недостаточно убедительной. Вызывает сомнение, во-первых, всеобщность распространения метазеты, тем более что переход сочетания *kl* > *lk* не является характерным для тюркских языков. В то же время неизвестно и употребление прилагательного *tüklü*... в значении 'лиса'. Наоборот, название лисы и данное прилагательное могут явно разграничиваться: ср., например, азерб. *tüklü* 'волосатый, косматый, длинношерстный; ворсистый, лохматый; перистый' и *tülkü* 'лиса'. Во-вторых, если следовать этой версии, то приходится считать, что название лисы — довольно позднего происхождения, поскольку тот элемент слова, который считается аффиксом прилагательных, фигурирует здесь не в древней (-*lig*), а в более поздней форме (-*li*), но столь позднее появление слова едва ли может быть сколько-нибудь доказательно обосновано. Так, в древнетюркских памятниках отмечен соответствующий аффикс в форме *-lig*, а название лисицы — в виде *tülki, tilkü, tilki*; ср. также прилагательное *tülüğ* 'волосатый' (< *tü* 'волос(ок), шерсть') (ДТС. 594, 596).

В части тюркских языков название лисы имеет также переносные значения — «хитрый, коварный», «хитрец, плут» и т. д. Сходная картина наблюдается и в языках других семей, например, в индоевропейских (ср., в частности, рус. *лиса*). Здесь налицо ярко выраженный классический метафорический перенос наименования. Но вместе с тем можно, по нашему мнению, допустить, что первоначальная семантика означала «хитрый», «хитрость» или «хитрое плутоватое существо» и относилась как к определенным представителям животного мира, так и к человеку.

В пользу этого предположения свидетельствует материал тюркских языков, в том числе производные от *tülkü*... слова. Доказано, что в большинстве случаев «метафорические, переносные значения основы не переходят в семантику производного слова» [8. С. 10]. Однако в словах, производных от *tülkü*..., проявляются в основном как раз эти значения. Таковы глаголы типа др.-тюрк. *tilkülän-* 'льстить, раболепствовать', каз. *tülkilän-* 'льстить', 'хитрить', тур. *tilkileş* 'становиться хитрее', распространенное существительное на *-lik*—*tüklülük*... 'хитрость, пронырливость'..., а также иногда прилагательные: *tilkülüg* 'лисий, хитрый' [8. С. 65].

В еще большей степени подтверждает нашу версию наличие слов, которые можно считать гомогенными с *tülkü...*, обозначающих хитрость и лукавство. Так, в турецком языке, кроме уже указанного *tilkileş-*, отмечен также глагол *tülekleş-* 'стать хитрым (лукавым)', производящая основа которого в имеющихся словарях по этому языку не обнаружена, но она есть в азербайджанском: *tüläkläş-* 'стать хитрым, превратиться в пройдоху' < *tüläk* 'пройдоха', 'хитрый' [9. С. 145]. В этом же языке отмечены слова *tülü* и *tülüngü* 'плут, шельма, пройдоха, стреляный воробей'. В. В. Радлов в своем словаре фиксирует азерб. *tülä* 'породистая охотничья собака' (РСл. 3. 1567), которое, возможно, также входит в тот же ряд слов, как и кирг. (=каз.) *tülöp* 'лукавый', или, в немецком переводе, — *der Böse* 'дьявол' (РСл. 3. 1569). Думается, в этих словах допустимо выделить глагольную основу **tül- ~ *til-* 'быть хитрым, ловким, проворным' и т. п., от которой при помощи аффикса *-ki (-gi)* могло быть образовано *tülkü...*, хотя аффиксальная его часть, вероятно, допускает и другие варианты истолкования.

Во многом сходен с уже рассмотренным другой случай — общетюркское наименование червя *qurt*, которое в древнетюркских памятниках и современных огузских языках имеет также значение 'волк'. В современных словарях *qurt* 'волк' и *qurt* 'червь' часто даются как омонимы.

Считается, что название червя по табуистическим мотивам было перенесено на волка ('грызущий зверь') [10. С. 358; 11. С. 220]. Семантическое же развитие слова, обозначающего червя, выглядит как 'грызущий' → 'червь'. В. М. Иллич-Свитыч дает такое значение исходя из индоевропейских языков [10. С. 358], но нам кажется, что это не бесспорно и применительно к ним [12. С. 335—336; 13. С. 149—150, 172].

Нельзя исключать здесь и внешнее совпадение. Даже и «алтайская» общность *qurt* с монг. **koqa-kai* 'червь' и калм. *hog* 'личинка слепня' не может считаться доказанной, как не доказано и родство тюркских языков с монгольским в целом.

Во всяком случае, на наш взгляд, нет серьезных оснований не считать *qurt* собственно тюркским по происхождению словом. Табу как причина переноса наименования *qurt* 'червь' → *qurt* 'волк' (если такой перенос действительно имел место) не исключена. Быть может, мотивирующим семантическим признаком при таком переносе было понятие 'грызущий (зверь)', но едва ли следует считать, что этим же признаком мотивировано и *qurt* 'червь'.

Последнее, вероятно, сопоставимо с тюркским глаголом *qıgıl-* 'стягиваться, сжиматься, судорожно сжиматься, корчиться' (ср. еще телеут. *qıgıŝ-*, саг., каз. *qıgıs-* 'стягиваться, чувствовать судороги' [РСл. 2. 935, 936]), представляющим, как и *qıgıŝ-*, залоговую форму от **qıg-*, что явствует из чулым.-тюрк. *qıg-a* 'судорога' [14. С. 44]. Семантика этого глагола, вероятно, 'стягивать, сжимать', она же могла отразиться и в распространенном прилагательном *qıgıç* 'сильный, крепкий', 'острый'.

Вместе с тем этот глагол мог обозначать ритмическое сильное сжатие, сокращение и вытягивание, периодические толчки и т. д., что проявилось уже в семантике существительного *qurt* (< *qıg-t*) 'червь' ['тот, кто передвигается путем волнообразных (перистальтических) сокращений тела']. Что касается *qurt* 'волк', то этот зверь мог быть назван так же, как червь, благодаря волчьей «походке» (ср. турецкий фразеологизм *qurt gidişi* 'рысца, легкая рысь' [букв. 'ход, движение волка']),

При этом совсем не обязательно, чтобы первичным значением слова *qurt* было именно 'червь', а вторичным — 'волк'. Не исключено и обратное, поскольку в тюркском языковом сознании, судя по некоторым производным от *qurt* глаголам, именно с образом волка был связан определенный вид движения, бега (что отразилось и в вышеприведенном турецком словосочетании): чагат. *qurdyla-* 'рысать (подобно волку)', тур. *qurdula-* 'идти особого рода аллюром (о лошади)' (далее, наряду с немецким переводом, В. В. Радловым приводится английское выражение *to go a jog trot* 'идти рысцой', тур. *qurdlan-* 'стать волком', '...бегать, как волк'—РСл. 2. 951—952). Нельзя полностью исключить также возможность самостоятельного, независимого появления слов *qurt* 'червь' и *qurt* 'волк', связанных общим признаком 'передвигающийся определенным образом' [15].

И в том и в другом из рассмотренных случаев вполне вероятно первоначальная адъективная семантика. Наличие в ряду этимологизируемых родственных слов, наряду с существительными прилагательных, особенно качественных, может сигнализировать о том, что именно среди них целесообразно искать исходную семантику этого ряда слов, о чем свидетельствует еще один случай.

Так, Э. В. Севортян в словарной статье, посвященной этимологии общетюркского *barmaq* 'палец', в списке его соответствий приводит каз. *paḡbaq* (сюда же следует добавить хакас. *paḡbaḡ*) 'ветвистый, раскидистый' [11. С. 67], хотя, к сожалению, не раскрыт характер связи значений *barmaq* и *paḡbaq* ~ *paḡbaḡ*.

Включение Э. В. Севортяном в число соответствий названию пальца хакасского слова вызывает, однако, возражение со стороны А. В. Дыбо, полагающей, что «каз. *paḡbaq* 'ветвистый' следует связывать с кирг. *baḡraj-* 'быть развесистым', каковое, давая рефлексы *-гр, не может быть связано с *barmaq...*» [17. С. 85]. А. В. Дыбо правильно, по нашему мнению, связывает *paḡbaq* с *baḡraj-* (кстати, наряду с этим глаголом, означающим, кроме того, 'быть широким, толстым и покрытым густой растительностью (о лице)', в кирг. есть и *baḡbaj-* 'иметь вид вздувшегося, распухшего, толстого'), но едва ли можно согласиться с ее утверждением о «несвязанности» (т. е. гетерогенности) *barmaq* и *paḡbaq*.

Кирг. *baḡraj-* может быть членимо на *baḡr* и глаголообразующий аффикс *-aj-*. Основа **baḡr*, скорее всего, — такая же образная основа, какими являются *salp* в каз. *salraj-* 'болтаться, отвисать' и *žalp* в кирг. *žalraj-* 'быть широким, плоским' [9. С. 280]. Последние же явно имеют сложный состав и производны от более простых (без конечного *-p*) основ, образных, именных или глагольных. Ср., с одной стороны, тур. *sal-la-* 'качать, раскачивать, колебать', *salkı* 'становиться вялым, дряблым; отвисать' и *salkı* 'вялый, дряблый; висячий, отвислый'; возможно, также кирг., уйгур. *salmaq* 'вес, тяжесть', башк. диал. *halmaq* 'увесистый', а с другой—др.-тюрк. *jalbu* 'плоский', тув. *ša'lyuj* [18] 'неглубокая дорожная чаша', тофал. *šalba* 'большой старинный плоский котел', туркм. *jalama* 'ровный, гладкий', вероятно, *jalaŋ* ~ *žalaŋ* 'поле, долина, равнина' [19. С. 135].

**Baḡr* в составе кирг. *baḡraj-* можно сопоставить с *baḡ* в казахском языке, семантика которого определяется как «подражание образному представлению о неуклюжем, разбухшем, раздутом предмете» (ср.: *baḡbi* < *baḡ-byj* 'разбухать—о пальцах') [20. С. 192].

Таким образом, Э. В. Севортян в принципе правомерно привлекал для сопоставления с *barmaq* прилагательное *paḡbaq*. Это сопоставление столь же логично, сколь и производимое самой А. В. Дыбо сближение сло-

ва **taɾmaq* (при с.-югур. *taɾmaq*, якут. *taɾbaɯ* 'палец') [21] с глаголом *taɾ-* 'распускать, рассеивать' (а кроме того, 'разделяться', 'распространяться' и т. п.) и существительным *taɾmaq* 'ветка, разветвление' [17. С. 87], куда можно также добавить хакас. *taɾbaɯ* 'растопырившийся; разветвившийся', тув. *da'ɾbaɯ*- (<**taɾɾaɯ*-) 'растопыриваться', 'раздуваться (о ноздрях)'. Явную параллель вышеприведенному составляет и еще одно сопоставление в работе А. В. Дыбо, когда шор. *ʒaɾbaɯ* 'палец' выводится из *ʒaɾbaɯ*- 'расходиться, растопыриваться' (при том, что последний — необязательно монголизм, как считает автор вслед за М. Рясняном) [17. С. 87].

Прилагательное *paɾbaɯ* 'ветвистый', судя по всему, должно содержать мотивирующую для *baɾmaq* 'палец' (это слово имеет также значения 'ветвь (стебель) растения', 'черенок') семантику, характеризующую нечто растопыренное, торчащее, выпирающее и т. п. Следует также учитывать, что *baɾmaq*, как и подобные ему слова тюркских языков, могло обозначать некое собирательное множество однородных объектов (не только палец, но и пальцы), о чем свидетельствует и отмеченная у соответствий этого слова семантика 'решетка', 'перила', 'спицы колеса'. Допустимо включить в число его соответствий еще и с.-югур. *paɾbaɯ* 'голова со всклокоченными волосами', а последнее явно одноструктурно с распространенным в тюркских (например, огузских) языках словом *baɾaɯ* 'лохматый, косматый, с длинной шерстью' → *baɾaɯ* 'собака с лохматой и длинной шерстью'.

По-видимому, существовало и *paɾaɯ* ~ *baɾaɯ* со значением 'палец; пальцы', о чем свидетельствует алт. *baʃpaɾaɯ* 'большой палец; мизинец' [22], которое, как полагает А. В. Дыбо, заимствовано из каких-то сибирско-татарских диалектов, что не проливает свет на его структуру. Но в этом плане *baʃpaɾaɯ*, нам кажется, вполне аналогично аналитическому наименованию *baʃ baɾmaq* 'большой палец' [17. С. 83—84].

Как известно, наименование пальца встречается и в форме *baɾbaɯ*, истолковываемой как производное на -*ɯ* от медиальной формы глагола **baɾ-* [11. С. 67]. Правда, у Э. В. Севортына это величина неясная, но такая глагольная основа, как мы полагаем, вполне реальна. Она могла означать 'торчать', 'растопыриваться' и проч., а непосредственными производными от нее именами были *baɾ-taɯ* и *baɾ-aɯ*.

Что же касается формы *baɾbaɯ*, то вряд ли необходимо возводить ее к **paɾɾaɯ* (Дыбо) [25. С. 74; 17. С. 89] или к *baɾɯɾaɯ*, которую Г. Рамстедт выводил, как и *baɾbaɯ*, из монг. *baɾi-* 'хватать'. Поэтому считаем, что нельзя согласиться и с мнением о перспективности того направления исследования слова *baɾbaɯ*, которому следовал Г. Рамстедт [11. С. 68].

В рассмотренных случаях определенная отдаленность значений семантических пар — неоспоримый факт, однако всерьез говорить об их гетерогенности и омонимичности не приходится. Но есть случаи, где значения в подобных парах еще более отдалены друг от друга (например, названия животных и названия неодушевленных предметов). Тем не менее исследователи, как правило, связывают такие значения друг с другом, выводя, скажем, названия неодушевленных объектов из названий одушевленных. Однако, поскольку этимология последних остается при этом «вещью в себе», соображения о примате «одушевленной» семантики над «неодушевленной» выглядят недостаточно убедительными.

Первый, представляющийся более простым пример — это название белки (в отдельных тюркских языках — соболя и ящерицы) *dejin* ~ *tejin* ~ *tegin*..., употребляемое также как наименование мелкой монеты

(чаще копейки). Прежде всего, следует, на наш взгляд, признать необоснованной версию М. Рясненна, считающего тюркское название белки заимствованием из языков манси или ханты, в чем выражал осторожное сомнение и Э. В. Севортян [26. С. 180—181], который фонетически более древней формой слова считал *tegiŋ*. Этот вариант сопоставим с глагольной формой типа др.-уйгур. *tegiŋ* 'кружить, вращать, вертеть', где *-(i)g-* считается формой залогового характера от **teq* [26. С. 172, 176 и след.] 'кружиться, вертеться', а также, вероятно, 'быть круглым' и т. д. От последней при помощи аффикса *-ŋ* и, возможно, *-p* могло быть образовано название верткого, быстрого зверька, будь то белка, соболя или ящерица.

Семантико-этимологическую параллель к тюркскому названию белки можно видеть в славянском *veverica*, обозначающем белку, а также горностаю и ласку. Считается, что в основе слова лежит удвоенный корень **veg-* 'гнуть, изгибать'. Эта версия мотивируется тем, что соответствующие животные «обладают необыкновенно гибким телом» [27. С. 170].

Вопрос о характере связи значений 'белка' и 'монета' уже более сложен, поскольку допускает альтернативное решение. Первичным значением исследователи считают 'белка'. По предположению Э. В. Севортяна, «...через обмен и торговлю с северными народами русское значение 'копейка' связалось с постоянным предметом торговли с Севером — белкой (тейиц ~ тийиц) и торговым же путем было занесено в Среднюю Азию и на Поволжье» [26. С. 180].

Такое предположение допустимо, и можно истолковать появление значения 'копейка' как результат метонимического переноса наименования (товар—его цена), с чем, правда, недостаточно согласуются некоторые детали, в частности отмеченное Э. В. Севортяном отсутствие указанной «денежной» семантики в тюркских языках северо-восточной группы, где, казалось бы, она должна была появиться в первую очередь. Не очень также ясно, почему стоимость меха ценного пушного зверя (белки, соболя) повсеместно ассоциируется с мелкой денежной единицей ('копейка' или иная 'мелкая медная монета'). Не свидетельствуют ли подобные «мелочи» (пусть косвенно) о том, что название монеты могло появиться по той же модели, что и название белки, но независимо от последнего от указанного выше глагола **teg-* в значении 'быть круглым, иметь округлую форму' и гомогенно с такими словами, как *teker* 'колесо, катушка', *tegiŋ* или *tekiŋ* 'круг', 'круглый' [26. С. 172]. В таком случае русское значение 'копейка' было скорее вторичным наименованием мелкой денежной единицы, нежели ее первоначальным названием [28].

Более трудным, чем рассмотренный выше, представляется случай *baŋmaq₁* 'башмак, туфля', 'обувь'... и *baŋmaq₂* 'теленка (годовалый)', где в плане синхронии налицо явные омонимы. Не случайно поэтому в некоторых этимологических исследованиях этимология *baŋmaq₁* дается без соотнесения с *baŋmaq₂* или оба слова рассматриваются в разных, не связанных одна с другой словарных статьях [25. С. 69; 28].

Вместе с тем по традиции, идущей еще от Л. Будагова, который считал, что обозначение обуви (*baŋmaq₁*) происходит от *baŋmaq₂* — «теленка к первой осени, годовой теленок (у которого отросли уже копыта...)», ряд исследователей связывает эти слова друг с другом, считая, таким образом, первичной фаунистическую семантику [29].

Очевидно, однако, что разъяснение, данное когда-то Л. Будаговым, достаточно туманно, и связь между «отросшими» у годовалого теленка

копытами и обувью выглядит довольно загадочной, особенно при отсутствии указания на какую-либо производящую основу.

Тем не менее Л. Будагов и его последователи, на наш взгляд, все-таки правы, сближая эти два слова, поскольку этимологическая общность между ними существует, хотя природа связей *bařmaq₁* и *bařmaq₂*, по-видимому, не та, какой она видится традиционно, и ни одно из этих слов не может служить исходным для другого. *Bařmaq_{1, 2}*, как нетрудно заметить, одноструктурны с ранее рассмотренным *bařmaq*. Можно согласиться с тем, что они являются производными от глагола **bař-* (каковой, однако, «остается пока невыясненным как формально, так и семантически») [11. С. 94].

Действительно, существующими исследованиями глагольная основа **bař-* с «подходящей» к нашему случаю семантикой в тюркских языках не фиксировалась. О какой же исходной семантике можно говорить применительно к данному случаю?

Рассмотрим слово *bařmaq₂* 'годовалый теленок'. Это теленок, который перестал сосать мать, «отделился» от нее, стал самостоятельным. Ср.: тув. диал. *řagundu* 'двухлетний медвежонок' < *řag-* 'отделять', поскольку в этом возрасте «медвежонок отделяется, уходит от матери и начинает самостоятельную жизнь» [30. С. 65].

Семантику того же типа, что и *řag-* (< *řag-*), мог иметь и глагол **bař-*. Она отразилась в другом производном от данного глагола — общетюркском *bařqa* 'другой, иной', 'особенный, особый', 'чужой', 'отдельный, находящийся порознь' и, наконец, — 'самостоятельный' [11. С. 93]. Это слово имеет довольно распространенную этимологию, истолковывающую *bařqa* как «застывшую» форму дательного падежа слова *bař* 'голова', но являющуюся, бесспорно, весьма сомнительной с разных точек зрения [11. С. 93].

Более логично, как мы полагаем, говорить здесь о производном от глагола **bař-* 'отделять(ся), обособливать(ся)'. Возможно, та же основа, но в залоговой форме, сохраняется в тур. *bařıp-* 'противостоять, быть упрямым', 'ослушаться, уклоняться', а в числе производных от *bař-* — чагатайское *bařaq* 'чужой; одинокий' (РСл. 4. 1552, 1553) и интересующее нас *bařmaq* 'годовалый теленок'.

Согласно нашей версии его происхождения производным от него не может быть *bařmaq* как название обуви (первоначально, как предполагается, туфель без задников) [25. С. 68]. Это слово, самостоятельно образованное от **bař-* в качестве названия материального объекта, предназначенного для того, чтобы отделять от внешней среды, закрывать, защищать (ноги).

Кстати, небезынтересно отметить, что соответствия *bařmaq* могут иногда обозначать не обувь, а какую-то ее часть, выполняющую защитную, изолирующую от земли функцию, например, подошву, подметку (РСл. 4. 1561) [31], а также соответствующую часть конечности животного: туркм. *rařmaq* 'ступня, пятка (ноги верблюда)'.

Таким образом, *bařmaq₁* и *bařmaq₂*, будучи в настоящее время омонимами, тем не менее гомогенны по происхождению, являются производными от общей глагольной основы.

Рассмотренные случаи показывают не только сложность семантической реконструкции слов с отдаленными значениями, но и, думается, целесообразность и необходимость применения такой реконструкции в этимологических исследованиях.

П Р И М Е Ч А Н И Я

- ¹ См., в частности, предисловие «От редактора» и ряд других публикаций в сборнике «Этимология. 1984» (М., 1986).
- ² Подобные случаи рассматривались в [3].
- ³ Татаринцев Б. И. О реконструкции мотивирующего семантического признака в процессе этимологизации//Теория и практика этимологических исследований. М., 1985.
- ⁴ Более детально это явление рассматривается в нашей работе [5].
- ⁵ Татаринцев Б. И. Смысловые связи и отношения слов в тувинском языке. М., 1987.
- ⁶ Этимология принадлежит В. Бангу. См. также [7].
- ⁷ Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964.
- ⁸ Севортян Э. В. Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке. М., 1966.
- ⁹ Он же. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. М., 1962.
- ¹⁰ Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. Введение: Сравнительный словарь (в—к). М., 1971.
- ¹¹ Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские основы на букву «Б». М., 1978.
- ¹² Ср.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1973. Т. 4.
- ¹³ Этимологический словарь славянских языков/Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1977. Вып. 4.
- ¹⁴ Бирюкович Р. М. Лексика чулымско-тюркского языка. Саратов, 1964.
- ¹⁵ Ср. также точку зрения, согласно которой *quřt* — «первоначально обобщенное название животных, зверей и насекомых». Она основывается, в частности, на материалах труда Махмуда Кашгари, где это слово приводится со значениями «животные», «звери» [16. С. 132], отсутствующими в ДТС.
- ¹⁶ Щербак А. М. Названия домашних и диких животных в тюркских языках//Историческое развитие лексики тюркских языков. М., 1961.
- ¹⁷ Дыбо А. В. К праалтайской реконструкции названий частей тела//Теория и практика этимологических исследований. М., 1985.
- ¹⁸ Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские основы на гласные. М., 1974.
- ¹⁹ Знаком апострофа здесь и ниже обозначается фарингализация предшествующего гласного.
- ²⁰ Кайдаров А. Т. Структура односложных корней и основ в казахском языке. Алма-Ата, 1986.
- ²¹ Можно добавить еще кирг. (=каз.) *tařbaq* «короткие толстые пальцы на руках» и шор. *tařbaq* «перчатки из замши» (РСл. 3. 871).
- ²² Ср. также в других диалектах алтайского языка *Pařparaq* — имя собственное мужское, букв. «мизинчик» (диалект туба), *Mařparaq* — имя собственное мужское (диалект кумандинцев) [23. С. 144; 24. С. 232].
- ²³ Баскаков Н. А. Диалект черневых татар (туба-кижи): Грамматический очерк и словарь. М. 1966.
- ²⁴ Он же. Диалект кумандинцев (куманды-кижи). М., 1972.
- ²⁵ Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков: Сравнительный словарь (р—q). М., 1984.
- ²⁶ Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские основы на буквы «В», «Г» и «Д». М., 1980.
- ²⁷ Проценко Б. Н. Названия белки в русском языке и некоторых других славянских языках//Этимологические исследования по русскому языку. М., 1981. Вып. 9.
- ²⁸ Räsänen M. Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki, 1969.
- ²⁹ См., в частности, [11. С. 94].
- ³⁰ Чадамба Э. Б. Тоджинский диалект тувинского языка. Кызыл, 1974.
- ³¹ Русский перевод соответствующего значения слова в словаре В. В. Радлова — «ступня», но его немецкий эквивалент *die Sohle* означает «подошва, подметка».

ФОЛЬКЛОР. ЛИТЕРАТУРА. КУЛЬТУРА

Т. Д. МЕЛИКОВ

О СТРУКТУРЕ СТИХОТВОРНЫХ ТЕКСТОВ
«КНИГИ МОЕГО ДЕДА КОРКУДА»

Эпос «Китаби дэдэм Коркут» («Книга моего деда Коркуда») — древнейший уникальный письменный памятник тюркских огузских племен. Записанный в XV в., этот эпос имеет исключительное значение для изучения тюркского общества в эпоху раннего средневековья. В «Книге моего деда Коркуда» воссоздан «целый мир кочевников с общим мироощущением и общими социально-бытовыми традициями, целями и общественным строем...» [1. С. 544].

«Книга моего деда Коркуда» оказала огромное влияние и на дальнейшее развитие художественной культуры потомков огузов — туркмен, азербайджанцев и турок.

Эпос состоит из 12 сказаний — боев, в каждом из которых прозаические тексты чередуются со стихотворными. Прозой передается повествование, стихами — только речь героев, хотя это не означает, что вся речь имеет стихотворную форму.

Известно, что рукописи «Книги моего деда Коркуда» не выделяют стихотворных текстов, за исключением одного случая в Ватиканском списке [2]. Вместе с тем смешанный характер изложения в эпосе прослеживается довольно легко. Прямая речь, как правило, начинается глаголами айытмак 'сказать', димек 'говорить', 'сказать', а стихотворная — сойламак 'говорить, петь', сой сойламак 'петь стихами'. Обычно перед стихотворной речью повторяются слова: «Сойлар, гёрелюм ханым не сойлар».

В редких случаях стихотворным текстам предпосылается существительное сойлама в значении 'стихи', 'песня'. Так как этот термин наиболее точно отражает характер поэтической речи эпоса, считаем, что им следует обозначить стихотворные тексты «Книги моего деда Коркуда».

В чем же особенности стихотворной структуры сойлама? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо остановиться на общих чертах древнетюркской поэзии.

Древнейшими образцами этой поэзии, дошедшими до наших дней, являются уйгурские стихи, созданные в VIII—X вв. На основании структуры их можно отнести к аллитерационным стихам. Для уйгурских стихов характерна «вертикальная», т. е. анафорическая аллитерация, система обязательных звуковых повторов, произвольное количество слогов в строке. Все эти особенности отмечаются и в лирическом стихотворении Апын Чор Тигина — первого известного нам древнетюркского поэта:

Kasınçığımın ö(yü)
 Kadgurar men
 Kadgurduk(ça) kaşı körtlem
 Kavişıgsayur men.

Öz amrakımın öyür men
 Öyü evirür men ödü.../çün
 Öz amrak(ımın)
 Opügseyür men

Barayın tiser
 Baç amrakım
 Baru yime umaz men
 Bagırsakım.

Kireyin tiser
 Kiçigkiyem
 Kirü yime umaz men
 Kin yıpar yıdılıgım.

Yavruk tengriler
 Yarlıkazımın
 Yavaşım birle
 Yakışıpın adrımanım.

Küçlüg priştirler
 Küç birzünin
 Közi karam birle
 K[ül]üşüp[en] oluralım [3. С. 14].

Я думаю о своей маленькой (возлюбленной)
 И тоскую (по ней);
 И, чем больше тоскую, моя чернобровая,
 Соединиться (с тобой) хочу.

Я думаю о своей возлюбленной;
 И, чем больше думаю...
 Свою возлюбленную
 Поцеловать я хочу!

Хочу (к тебе) идти.
 Красивая моя возлюбленная,
 Но не могу идти,
 Моя милосердная!

Хочу войти (в твой дом),
 Моя маленькая,
 Но никак не могу войти,
 Моя благоухающая!

Светлоликие боги
 Пусть благословят:
 (Мы с моей любимой) с ангельским характером
 Соединились и больше не расставались!

Пусть могущественные ангелы
 Дадут нам силу:
 (Чтобы) мы с моей черноглазой
 Вместе весело жили!

Как видно из приведенного примера, Апрын Чор Тягин совершенно сознательно аллитерирует начальные звуки каждого стиха в пределах строфы по системе а а а а; б б б б и т. д. Кроме «вертикальной», в этом стихотворении встречаются «горизонтальная» аллитерация, т. е. повторение согласного звука внутри одной строки: kadguruk(ça) kaşı körtlem, и конечная рифма глагольного типа [4].

Аллитерационный стих возник на почве естественных законов тюркских языков. Говоря об этом, известный польский тюрколог про-

фессор Тадеуш Ковальский отмечал, что в тюркских языках «корень слова узнается по начальным звукам, непосредственно легко схватываемым, тогда как конечный звук стирается благодаря соприкосновению с рядом последующих звуков. Если к тому же допустить, что в пратурецком (пратюркском.—Т. М.) языке главное ударение падало на коренной слог, начинающее слово, станет понятно, что в поисках единого ритмически-звукового начала обратились прежде всего к начальным звукам слов, иными словами, аллитерация была осмыслена как ближайшее задание» [6. С. 151—152].

И в «Книге моего деда Коркуда» встречаются стихи, в которых широко использована анафорическая аллитерация:

Karanku ahşam olanda günü toğan
 Kar ile yağmur yağanda er kibi turan
 Kara koç atlar gördüğünde kişneşdüren
 Kızıl deve gördüğünde buzlaşduran... [7. С. 25—26].

Когда наступает темный вечер, для тебя восходит солнце,
 Когда идет снег и дождь, ты становишься героем,
 Когда ты видишь черных красивых коней, заставляешь их ржать,
 Когда ты видишь красных верблюдов, заставляешь их реветь.

Следует отметить, что аллитерационные стихи в эпосе скорее исключение, чем правило, хотя как стилистический прием аллитерации применяется в сойлама довольно широко. В отличие от древнетюркской поэзии, основным композиционным приемом в сойлама является параллелизм, который используется в эпосе вполне осознанно.

Тюркские языки не знают префиксов, словообразование в них происходит путем присоединения аффиксов к концу основы слова. И расположение частей предложения в них подчиняется закону синтаксического постоянства, т. е. каждое слово в предложении имеет свое определенное место. Естественно, что из-за агглютинативной структуры и симметричного синтаксиса параллелизм выступает главным средством тюркской просодии. Еще Т. Ковальский отмечал, что «зачатки строфики, метрики, рифмы и аллитерации, в завершенной своей форме составляющих оригинальный характер народной турецкой поэзии, возникают из взаимодействия двух факторов: законов языковых, морфологически-синтаксических и законов композиционных, выросших на фоне специальных эстетических устремлений (главным образом склонности к параллелизму и симметрии)» [6. С. 159].

В стихотворных текстах «Книги моего деда Коркуда» четко прослеживается эволюция поэтических особенностей тюркской рифмы, строфики и метрики, обусловленная параллелизмом:

Karşu yatan kara tağı sorar olsañ
 Ağam Beyregün yaylası-y-idi
 Ağam Beyrek gideli yaylarum yok
 Sovuk sovuk suitarını sorar olsañ
 Ağam Beyregün içidi-y-idi
 Ağam Beyrek gideli içerüm yok
 Tavla tavla şahbaz atları sorar olsañ
 Ağam Beyregün binidi-y-idi
 Ağam Beyrek gideli binerüm yok... [7. С. 46].

Ты спрашиваешь о черной горе, стоящей напротив,
 Там были летовки моего старшего брата Бейрека,
 С тех пор, как ушел мой старший брат Бейрек,

у меня летовки нет.

Ты спрашиваешь о ее холодных водах,
 Эту воду пил мой старший брат Бейрек,
 С тех пор, как ушел мой старший брат Бейрек,

у меня нет (человека), пьющего эту воду.

Ты спрашиваешь о табунах быстрых коней.
 На них ездил мой старший брат Бейрек.
 С тех пор, как ушел мой старший брат Бейрек,
 у меня нет (человека), ездившего на них.

Этот стихотворный текст обладает всеми чертами строфического параллелизма. Если разбить его на трехстишия, то получим одну из форм амебейной композиции, построенной на психологическом параллелизме, на сопоставлении явлений природы и душевного состояния, материального благополучия и внутренней опустошенности.

Благодаря синтаксическим параллелизмам в этой сойлама присутствует и рифма с редифом: причем рифма в сойлама более совершенна, чем в стихотворении Апрын Чор Тигина, в котором она присутствует как бы помимо воли поэта. В «Книге моего деда Коркуда» она осознается и культивируется как один из важнейших поэтических приемов и становится одним из основных организующих начал звуковой организации стиха. Здесь, видимо, необходимо принять во внимание и определенное влияние арабо-персидской литературы. Известно, что в просодии тех из тюркских народов, литература которых испытала на себе наибольшее влияние мусульманской культуры, происходили значительные структурные изменения в системе стихосложения, снижалась роль аллитерации и анафоры, и наоборот — все больше места занимала рифма.

Т. Ковальский отмечал, что аллитерация и рифма (в ее нынешнем понимании) в поэзии тюркоязычных народов обратно пропорциональны друг другу. «Если самое явление рифмы, несомненно, самобытно-тюркское (тюркское.—Т. М.), то совершенствование ее следует приписать, в сильной мере, общим влияниям персидско-арабской поэтики. У алтайских народов, стоящих далеко от мусульманской культуры, рифма значительно более примитивна, чем в народной османской поэзии, подверженной персидско-арабским влияниям, зато у первых сильно развита аллитерация... По мере совершенствования рифмы упрощается аллитерация, — это несомненный результат влияний персидско-арабской поэтики, знающей рифму, но не аллитерацию» [6. С. 150].

В стихотворных текстах «Книги моего деда Коркуда» можно отметить процесс образования новой силлабической системы стихосложения. Под воздействием параллелизмов и амебейной композиции появляются двустишия, созданные семисложником с цезурой после четвертого слога, т. е. размером 4+3:

Vay göz açıp/gördüğüm
 Köñül virüp/sevdigüm [7. С. 42].

Yücelerden/yücesin
 Kimse bilmez/niçesin [7. С. 71].

Ох, (мой любимый), открыв глаза, я увидела тебя,
 Отдав сердце, полюбила тебя.

Ты выше всего высокого,
 Никто не знает, каков ты.

Кроме семисложника, в стихотворных текстах «Книги моего деда Коркуда» встречаются восьмисложник, одиннадцатисложник, двенадцатисложник и т. д. Отдельные сойлама состоят из двустиший, в которых строки с отличающимся количеством слогов скреплены глагольными рифмами:

Kanı didüğün big erenler
 Dünya benüm diyenler
 Ecel aldı yir gizledi

Исследование стихотворных текстов «Книги моего деда Коркуда» и сопоставление их с образцами древнетюркской поэзии, и в первую очередь с уйгурскими стихами, дает возможность проследить эволюцию тюркского стихосложения и прийти к выводу, что сойлама огузского эпоса, опираясь на древнетюркскую поэтическую традицию, под влиянием мусульманской культуры трансформировала ее и подготовила благоприятную почву для возникновения поэтической системы хедже.

Первые образцы стихов, написанных размером хедже, дошли до нас благодаря словарю Махмуда Кашгари «Дивани лугат-ит-турк». Словарь этот, составленный в XI в., дает основание предположить, что хедже как новая система стихосложения начала формироваться не позже этого времени, а значит, сойлама огузского эпоса, будучи переходной от древнетюркской поэтической традиции к хедже, возникла еще раньше.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ История всемирной литературы. М., 1985. Т. 3.

² При подготовке изданий «Книги моего деда Коркуда» азербайджанские и турецкие ученые отделили стихотворные тексты от прозаических.

³ Türk dili//Türkşiiiri özel sayısı. 1986. № 409.

⁴ Стихотворение Апрына Чор Тигина в книге Решита Рахмети Арата «Древнетюркская поэзия» [5] расположено в виде трехстрочных строф.

⁵ Eski Türk Şiiri. Ankara, 1986. 2 b.

⁶ Линия А. К вопросам формального изучения поэзии турецких народов//Изв. вост. фак-та АГУ. Баку, 1926. Т. 1.

⁷ Dede Korkut Kitabı//Hazırlayan Prof. Dr. Muharrem Ergin. Istanbul, 1986. 3 b.

⁸ Шамама — сорт мелкой душистой дыни.

А. В. ОБРАЗЦОВ

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ СЮЖЕТОВ У АХМЕДИ

К числу интересных и наиболее дискутируемых проблем в современном литературоведении относится соотношение традиции и индивидуально-авторского начала в произведениях древнего и средневекового периодов. Особую остроту этот вопрос приобретает при обращении к «восточным» литературам, когда трудно применить критерии определения авторства, выработанные на «западном» материале. Многие исследователи указывают на весьма специфичное представление народов ближневосточного региона о плагиате, заимствовании и т. п. [1. С. 11—17; 2. С. 46—69; 3. С. 150—183], что нашло отражение в довольно развитой традиции «подражания—соперничества».

Безусловно, с одной стороны, это создает известные трудности для исследователя, но—с другой, сравнение интерпретации сюжета конкретным автором с произведениями на аналогичную тему, созданными в русле определенной традиции, дает щедрый материал для выявления авторской индивидуальности. Особенно большую пользу, на наш взгляд, этот метод может принести исследователям сравнительно поздних по времени возникновения литератур, которые на первых этапах своего развития опирались на уже сложившиеся иноязычные литературные каноны.

Турецкая литература на ранней стадии своего развития (XIII—XV вв.) испытала значительное влияние арабской и персидской литератур.

Поэт Тадж эд-Дин Ахмед Ибрахим, более известный как Ахмеди (1334—1413), вошел в историю турецкой литературы главным образом как автор месневи «Искендер-наме», которое давно привлекает внимание тюркологов различных специальностей, и прежде всего — историков, чрезвычайно интересной вставкой, освещающей политическую жизнь Малой Азии того времени.

В данном сообщении предпринята попытка анализа трансформаций одного из сюжетов, связываемых с именем Искендера, а именно сюжета о строительстве вала против яджуджей и маджуджей. Схематично данный сюжет можно представить следующим образом: жители некоей страны обращаются к Искендеру с просьбой защитить их от набегов страшных яджуджей и маджуджей. Искендер строит вал, преграждающий дорогу врагам, и спасает народ.

Генетические корни сюжета достаточно ясны. Образ «дивий народ»—яджуджей и маджуджей восходит к библейским Гогу и Магогу и отражает противоборство оседлых южных и кочевых северных племен. По мнению ряда ученых, в повествовании нашли отражение легенды о

Автор	Мотивировка	Яджуджи и маджуджи	Стена	Финал
1	2	3	4	5
Балами	Бог приказал Искендеру защитить людей.	Потомки сыновей Иафета. Ростом в 1 локоть. Имеют огромные уши, спят на одном, укрываются другим.	Искендер воздвигает вал из железа и плавленной бронзы.	Перед страшным судом яджуджи и маджуджи прорвут стену и сожрут все, что есть на земле.
Фирдоуси	Знатные жители некоего города в ответ на вопрос о диковинках показывают на гору, где живут яджуджи и маджуджи.	Внешний вид: кровавые глаза, черный язык, черная верблюжья морда, клыки вепря, шерсть цвета индиго—густая и длинная. Яджуджи и маджуджи ростом со слона и со слоновьями ушами, спят на одном, а накрываются другим. Быстры в беге. Яджуджей и маджуджей огромное количество, так как рождаются их сразу по 1000. Весной поедают посевы и побеги, чем и живут весь год. Зимой слабеют.	Материал: медь, свинец, глина, камень. Строят две стены—слой железа, слой угля, между ними — медь, под каждым слоем — сера. Стены облили маслом и нефтью и подожгли. Металлы и камни сплавилась в монолит.	Край навеки спасен от яджуджей и маджуджей.
Низами	Люди, живущие в шахрах, на склонах, просят Искендера построить вал против яджуджей и маджуджей.	Живут за грядой гор. Внешний вид: сплошь покрыты щетиной, даже лицо. Когти, как у волка, свирепы и плечисты. Каждый из яджуджей и маджуджей рождает по 1000 себе подобных. В начале месяца активны (главным образом в еде), в конце их голод затихает. Раз в год из черного облака к ним падает дракон, которого они и пожирают. Пьют даже кровь дракона. Порой нападают на людей.	Искендер воздвиг вал из железа.	Вал будет стоять до дня Страшного суда.

1	2	3	4	5
Ахмеди	Жители разграбленной страны просят защиты у Искендера от яджуджей и маджуджей.	Яджуджи и маджуджи по ту сторону гор. Это дикое племена, несущие лишь грабеж и насилие. Внешний вид: в половину человеческого роста, тело покрыто щетиной, как у кабана, длинные руки, им несть числа. По образу жизни не похожи на людей. Далеки от истинной веры.	Искендер созвал работников без счета. Построили две стены, а между ними — золото, серебро, железо, камень.	Перед Страхным судом яджуджи и маджуджи сдают брешь в стене и разорят всю землю.
Навон	Жители разоренной страны просят защиты у Искендера.	Яджуджи и маджуджи живут в окрестностях горы Каф, которая есть предел вселенной. Эти племена — кара, испосланная Аллахом за грехи людские. Внешний вид: покрыты волосами, лица желтые и черные, бороды красные. Имеют огромные уши, которыми могут укрываться. Свирепый взгляд. Ноздри, как печи, они их чистят языком. И у самцов, и у самок яджуджей и маджуджей — по две длинные груди. Эти народы неисчислимы. Дважды в год они выступают в поход.	Искендер созвал рабочих из Рума, Шама и Фаранга. Проект стены рассчитали по звездам. Материал: медь, олово, сталь — всего 7 металлов. Металлы плавят в печах и заливают основание стены, которая строится между двумя горами. Затем сверху кладут плотно подогнанные каменные плиты. Ширина стены — 500 локтей, длина — 10 000 локтей. Вдоль стены — сторожевые башни. Стену строят в течение полугода.	Стена неприступна. Яджуджи и маджуджи вновь приходят, но их огоняют.

строительстве Великой Китайской стены. Контаминация этих сюжетов легко объяснима, ибо и тот и другой передают сходную ситуацию — борьбу кочевников и оседлого населения. Связь сюжета с именем Александра Македонского возникла довольно поздно, в более развернутом виде она появляется лишь в X в. у Балами, который основывался на коранической традиции, отражавшей, скорее всего, некие фольклорные мотивы. Как бы то ни было, у Балами уже есть вполне оформившийся рассказ об Искендере и строительстве вала против яджуджей и маджуджей.

Приняв вариант Балами за точку отсчета, можно проследить развитие сюжета с целью выявления особенностей авторской позиции Ахмеди. В качестве сравнительного материала взяты произведения Фирдоуси, Низами и Навои. «Дастан об Искендере» из «Шах-наме» принадлежит к числу первых литературных обработок легенд об Александре Македонском на Востоке. Поэма Низами — первая попытка «сделать образ Александра центром большого поэтического произведения» [4. С. 49], и именно с Низами начинается традиция написания «Искендер-наме», наконец поэма Навои «Вал Искендера» — вторая после поэмы Ахмеди тюркоязычная версия истории об Искендере. При чем Навои, видимо, не был знаком с произведением Ахмеди.

Основные сюжетообразующие элементы сведены в сравнительную таблицу [5].

Нетрудно заметить, что развитие сюжета идет по двум линиям — первая связана с постепенной утратой реальной мотивировки, лежащей в основе предания, и насыщением его мифологическими компонентами. Вряд ли здесь имеет место сознательное мифотворчество, скорее всего, фольклорно-мифологическая традиция диктовала и соответствующее «оформление» материала. В основе второй линии, напротив, лежит стремление придать легенде реалистическую окраску [10. С. 135—137]. Подобное соседство двух противоположных тенденций, видимо, объясняется в конечном счете наличием двух противоборствующих начал в самой литературе, которая, в свою очередь, отражала известное социальное расслоение общества [10. С. 139—140]. При этом следует учитывать отсутствие резкой границы между этими направлениями, что позволяет реализовать их в рамках одного произведения.

Первая тенденция наиболее отчетливо проявляется в динамике образа яджуджей и маджуджей. При всем разнообразии деталей описания (хотя набор их тоже ограничен) легко выделяются ключевые точки, вокруг которых и строится образ. Прежде всего, это связь с горами. Мотив «горы» как трансформация мотива «древа мирового» хорошо известен из мифологических представлений разных народов. Достаточно назвать трехглавую гору Меру (индуизм), Сумер (центрально-азиатские и алтайские народы) и, наконец, гору Каф (ислам). Играя роль своеобразного моста между верхним, нижним и средним мирами, гора обычно мыслится либо центром, либо границей мироздания. Отсюда представление о горе, как о символе враждебного мира, который локализуется либо в/на горе, либо за горой — в зависимости от места, занимаемого горой в космогонической системе [11. С. 61—66]. Все авторы так или иначе реализуют этот мотив в своих произведениях. Описание может быть развернутым (Навои) или же достаточно кратким (Фирдоуси), но в любом случае возникает один и тот же образ — заоблачная вершина или гряда гор, выполняющая пограничную функцию между упорядоченным и хаотическим мирами. Навои прямо соотносит места обитания яджуджей с горой Каф. В русле этой же традиции развивается мотив и у Ахмеди:

ایکی طاغہ اغرد اول یولده شاه
هر بر ینوک قلمس اولمش [تا] اوج ماد

Шах прошел по дороге меж двух гор,
Чьи вершины (достигают) рогов месяца.

ور بو طفلردن اكارو پی کران
کوه صحرا یا جوجه اولمش مکان

По ту сторону гор—без предела
Пустыня; там и живут яджуджи.

Враждебный мир персонифицировался первоначально в образах животных (напр., медведь-гризли у индейцев Сев. Америки), а затем в образах зооморфных существ (напр., дивы у иранских народов). Зооморфные черты являются еще одним центром, вокруг которого строится образ. Практически все авторы, описывая внешний вид яджуджей и маджуджей, придают им черты тех или иных животных. Как правило, выбираются именно те, которые либо потенциально опасны для человека, — клыки, косматые лапы, кроваво-красные глаза и т. п., либо создают фантастический, гиперболизированный образ—слоновьи уши, ноздри, как печи и т. п.

Близость образа к враждебному, потустороннему миру подчеркивается еще двумя группами характеристик: одна связана с невероятной прожорливостью и плодовитостью яджуджей и маджуджей, а другая— с цикличностью их жизни.

Говоря о признаках первой группы, следует вспомнить высказывание В. Я. Проппа: «Умершим, существовавшим в силу объективизации души как самостоятельного существа, приписывались два сильнейших инстинкта: голод и половой голод» [14. С. 25]; можно еще добавить, что вообще аналогичные свойства характерны для существ, связанных с миром богов и духов (сатир и силен, например). Мотив голода реализуется в подчеркнута «тотальной» прожорливости яджуджей и маджуджей — они поедают все: от молодых побегов растений и животных до людей (Навои), драконов (Низами). Мотив полового голода находит свое выражение в гипертрофированной плодовитости яджуджей и маджуджей (Фирдоуси, Низами).

Что касается циклизации жизни яджуджей и маджуджей, то здесь мы явно имеем дело с перенесением природно-календарных циклов на ритм жизни зооморфных существ в силу их неразрывной связи с природой. Жизненный цикл соотносится либо с временем года (Фирдоуси, Навои), либо с фазами луны (Низами), что может восходить к лунарным мифам, в которых враждебные человеку силы зачастую связаны с луной (напр., кэле у чукчей).

Мифологизация образа яджуджей и маджуджей оказала определенное влияние на образ самого Искендера. Происходит своеобразное переосмысление: борьба Искендера с яджуджами и маджуджами приобретает черты деятельности героя, представляющего уже сложившуюся культуру, по очищению мира от хтонических чудовищ — нечто вроде подвигов Геракла. Вообще, «защита человеческого мира от демонов и чудовищ — важнейшая забота культурного героя» [15. С. 27]. Примечательно то, что Искендер строит вал, лишаящий силы хаоса возможность вмешиваться в жизнь мира человеческого, — своеобразную плотину из железа или сплава различных металлов, что может быть отголоском древнейшего мифа о кузнеце. Однако ко времени возникновения предания эта мотивировка, видимо, уже не осознавалась,

поэтому, на наш взгляд, данная деталь не подверглась в рассматриваемых нами произведениях сколько-нибудь серьезной трансформации.

О наличии второй линии развития сюжета довольно четко свидетельствуют факты введения в ткань фантастического описания реалистических элементов, что придает всему повествованию большее правдоподобие. Прежде всего, это относится к довольно подробному описанию сооружения стены, вала (см. таблицу). Наиболее подробный рассказ дает Навои. Это «классический пример» развития сюжета в русле первой линии. Сохраняя и сгущая фантастико-мифологические элементы повествования, Навои вводит целый ряд реалистических деталей: это и усложняющее сюжет описание битвы Искендера с яджуджами, и то, что к сооружению вала приступают дважды, и, наконец, чрезвычайно интересный психологический момент — жители просят Искендера о помощи и в то же время опасаются, что его действия усугубят их бедствия.

Вторая линия, ведущая к отказу от фантастических черт и, следовательно, к усилению реалистических элементов повествования, связана с вопросом о соотношении традиции и индивидуально-авторского начала и представляется более значимой.

Трансформация образов в этом направлении заметна уже у Низами, что отмечал еще Е. Э. Бертельс, который писал, что яджуджи и маджуджи у Низами «описываются менее фантастично... и скорее напоминают каких-нибудь кочевников, находящихся на очень низком уровне развития» [4. С. 74]. Однако у Низами фантастические элементы по-прежнему занимают весьма значительное место, тогда как у Ахмеди они исчезают почти полностью, например, прожорливость и календарно-циклический ритм жизни яджуджей и маджуджей. Практически отсутствует мотив плодовитости, отзвук его сохраняется лишь в указании на огромное число яджуджей и маджуджей.

ريك اجزاسينه ور دورر شمار
ليك يقدر بنلره اى شمريار

Они живут среди песков,
Но несть им числа, о повелитель.

Единственное, что оставляет Ахмеди от фантастического облика яджуджей и маджуджей, — это зооморфные черты:

تنلرى پر مودر ايلام كراز
بنجه و چنگال سر تز دراز

Тело сплошь покрыто щетиной, как у кабана,
А кисти рук и пальцы — длинные-предлинные.

Можно было бы еще указать на связь с горами яджуджей и маджуджей (см. выше), однако эта связь значительно ослаблена, так как все повествование разворачивается в горной местности, и тем самым оппозиция «равнины—горы» если и не снимается, то заметно нивелируется:

ياقننده اول ظلمرك شاه جهان
اغردى بر خلقه غايت ناتوان

Повелитель вселенной в окрестностях тех гор
Повстречался с весьма немощным народом.

Следует отметить, что развитие образа яджуджей и маджуджей у

Ахмеди вообще идет по линии перенесения акцентов с их внешнего облика на описание бедствий, которые они приносят:

کر عمارت ایلیوز کر کشت کار
یا جوج ماجوج ادرلر نار مار
اشلوی ظلمله غارتدر قمو
هر نه اتسالر فسارت در قمو
قنده ارسالر ادرلر جور قهر
بنلرک ظلمینه دیمنر ایل شهر

Мы строим дома и обрабатываем землю.

Яджуджи и маджуджи же несут лишь беды и страдания,

И все их занятие — грабеж и насилие.

Что бы они ни делали, — все приносит ущерб,

Где они ни пройдут, — там гнет и насилие.

От их притеснения обезлюдели страна и города.

Если к этому добавить еще и реалистическую мотивировку событий (уже у Фирдоуси Искендер строит вал не по велению Аллаха, как то имеет место в Коране и у Балами, а по просьбе людей, страдающих от набегов яджуджей и маджуджей), то повествование Ахмеди становится мало чем похоже на фантастическую легенду, это, скорее, сообщение хрониста о необычном, но вполне реальном событии.

Подобное сближение легенды с реалиями тогдашней жизни приводило, видимо, к определенным параллелям и придавало всему рассказу дидактическую окраску. В правильности подобного предположения убеждает и вывод, который делает сам Ахмеди:

اولسه یاجوج کیبا دشمن شمار
اول سکندر سد دورر پایدار

Если будут враги числом подобны яджуджам,
То встанет неколебимый вал Искендера.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ См., напр.: Шидфар Б. Я. Образная система арабской классической литературы: (VI—XII вв.). М., 1974.

² Куделин А. Б. Средневековая арабская поэтика. М., 1983.

³ Серебрянный С. Д. О некоторых аспектах понятий «автор» и «авторство» в истории индийских литератур//В кн.: Литература и культура древней и средневековой Индии. М., 1979.

⁴ Бергельс Е. Э. Роман об Александре и его главные версии на Востоке. М.; Л., 1948.

⁵ При работе над статьей использовались следующие источники: [6 (ср.: Фирдоуси. Шах-наме/Пер. Ц. Б. Бану-Лахути, В. Г. Берзнева. М., 1984. Т. 5); 7 (ср.: Низами Гянджеви. Искендер-наме/Пер. К. Липскерова//Сочинения. М., 1986. Т. 5); 8; 9 (ср.: Алишер Навои. Стена Искендера/Пер. В. В. Державина. М., 1970)].

⁶ Фирдоуси. Шах-наме: Критический текст. М., 1968. Т. 7.

⁷ Низами Гянджеви. Икбал-наме: Научно-критический текст. Баку, 1947.

⁸ Ahmedi. Iskender-name: inceleme-Tirkibasım/Dr. Ismail Ünver, Ankara, 1983.

⁹ Алишер Навоий. Хамса. Ташкент, 1958.

¹⁰ Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967.

¹¹ Шукуров Ш. М. «Шах-наме» Фирдоуси и ранняя иллюстративная традиция. М., 1983.

¹² В анкарском издании факсимиле предлог отсутствует. Однако вариант, который приводит Гибб, видимо, более правильный. См.: [13. С. 26].

¹³ Gibb E. J. W. A History of ottoman poetry. London, 1909. Vol. 6.

¹⁴ Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986.

¹⁵ Мелетинский Е. М. Культурный герой//В кн.: Мифы народов мира. М., 1982. Т. 2.

Ф. УРМАНЧЕЕВ

МОТИВ БЕЗДЕТНОСТИ В ТЮРКСКОМ ЭПОСЕ

В. М. Жирмунский писал, что «легенды о чудесном зачатии и рождении будущего героя имеют одинаково широкое и повсеместное распространение в эпосе, мифе и сказке» [1. С. 23]. Для определения всех этих легенд в фольклористике употребляется выражение «мотив чудесного рождения» [2. С. 67—97]. Так как анализ конкретных образцов тюркоязычного фольклора показывает, что *весьма пространное повествование* о чудесном рождении Алпамыша, Кобланды-батыра, тем более Манаса, не укладывается в рамки термина *мотив*, здесь речь должна идти о сюжете, теме. На самом деле, часть эпоса «Манас», рассказывающая о рождении богатыря [3. С. 15—72], настолько значительна по своему содержанию и объему, что превосходит отдельные самостоятельные эпические произведения многих народов. В известной степени то же можно сказать и в отношении эпоса об Алпамыше, Кобланды-батыре и некоторых других. На наш взгляд, повествование о рождении богатыря в тюркском народном эпосе включает в себя ряд самостоятельных тем, среди которых наиболее популярными и широко разработанными являются рассказы о страданиях *бездетных родителей, о вымалывании ребенка и о рождении богатыря*. В данной статье речь идет лишь об одной из них—о теме бездетности.

Первые письменно зафиксированные произведения, в которых так или иначе отражается тема бездетности, относятся к глубокой древности. Это древнеегипетские памятники «Сказка потерпевшего кораблекрушение» (XX—XVII вв. до н. э.) и сказка «Обреченный царевич» (XIII в. до н. э.) [4. С. 42, 62, 262, 263].

Мотивы бездетности в упрощенной форме встречаются в древнегреческой и древнеиндийской мифологии, где эта тема, однако, не играет значительной роли в развитии сюжета произведения [5. С. 104, 124, 136 и др.]. Дальнейшее развитие она получает в древнеиндийском эпосе, в частности в «Сказании о Раме» (III—II вв. до н. э.), где говорится о процветании Айодхьи, царства Дашаратхи. «Но великое горе давно уже точило душу государя Айодхьи, и ничто не веселило его. Не было потомства у благородного Дашаратхи, некому было передать власть и государство» [6. С. 24].

Следующий этап развития темы связан, очевидно, с огузским героическим эпосом. В первом огуз-наме—«Песнь о Бугач-хане, сыне Дирсе-хана» сказано: «Байындыр-хан, по давно установившейся среди огузов традиции, устроил пир для беков иля. При этом он приказал поставить

белые шатры для тех, у кого есть сыновья, красные для тех, у кого нет сыновей, но есть дочь, и черные шатры для бездетных беков. Чтобы сильнее унижить последних, он велел им подавать пищу из мяса черного барана и посадить их на черный войлок» [7. С. 106]. В этом тексте есть не только сообщение о бездетности, как в древнеегипетской прозе, или о горе царя, не имеющего наследника, как в древнеиндийском эпосе. Здесь *выражено отношение окружающих к бездетным старикам*. Байындыр-хан говорит: «У кого нет ни сына, ни дочери, того проклял всевышний бог, мы тоже проклинаем его» [8. С. 14].

Эти идеи огузского героического эпоса находят продолжение в тюркском эпосе средневековья. Достаточно полно отражены они в киргизском «Манасе», где описываются горе и унижения бездетного Джакыпа.

Тема бездетности представлена и в народном творчестве татар и башкир, особенно в сказках. Широко и многосторонне разработана она в казахском народном эпосе: сказочном, героическом и романическом. В целом ряде казахских народных сказок рассказывается о бездетных родителях, их горе, презрительном отношении к ним окружающих [9. С. 87]. Подобные эпизоды имеются в сказках «Батыр Алибек», «Дудар кыз», «Ирмагамбет», «Алеуко батыр» и др.

Из произведений казахского народного эпоса характерно в этом плане сказание об «Алпамыс-батыре». Байбори из племени Конграт, обладающий огромными богатствами, не имеет детей. Близкие его избегают, издеваются над ним. Он вынужден усыновить сына рабыни — Ултана, который впоследствии изгоняет старика из дома. Близкие по содержанию эпизоды подробно разработаны в сказаниях «Ер-Саин», «Шора-батыр», «Кобланды-батыр». Последнее в варианте Ш. Калмагамбетова начинается с описания богатств Токтарбая, что вообще типично для тюркского эпоса. С художественной точки зрения, такой зачин глубоко оправдан, ибо обладание богатством противопоставлено горю — бездетности. В этом сказании впервые выражено сочувственное отношение к бездетному богачу [10. С. 65, 223—224, 400—401 и др.].

В произведениях героического эпоса речь обычно идет о необходимости рождения одного ребенка — сына, хотя иногда вместе с ним появляется на свет и сестра будущего богатыря. Широко разработана рассматриваемая тема и в лироэпических сказаниях, например, казахских: «Тахир и Зухра», «Козы-Корпеш и Баян-сылу», где говорится о бездетности двух семей: хана и его визиря или двух баев. Однако рассказы о бездетности двух семей не являются исключительной принадлежностью лишь лироэпических сказаний. В узбекском «Алпамыше», признанном классическим образцом произведений героического эпоса, рассказывается, что у Алпинбия было два сына — Байбури и Байсары. Они были богаты, но несчастны, ибо у них не было детей.

Так, легенды о бездетности в продолжение нескольких тысячелетий проходили большую и сложную эволюцию. В произведениях древнеегипетской прозы просто сообщалось о бездетности. В древнегреческой и древнеиндийской мифологии, особенно в древнеиндийском эпосе, мотив необходимости ребенка значительно усложняется. Но наиболее полную и широкую разработку получает эта тема в древнем и средневековом тюркском эпосе: сказочном, героическом и романическом.

Дальнейшее развитие темы приводит к некоторому ее переосмыслению. В русских народных сказках Сибири о богатырях, где широко представлена эта тема, уже нет никаких упреков, оскорблений, тем более преследования бездетных родителей [11. С. 35—117, 128—132, 159—176]. В современных записях сказок наблюдается известная демо-

кратизация темы — старику со старухой ребенок нужен для того, чтобы в будущем ухаживать за ними. Именно об этом говорится в татарской народной сказке «Змееныш» («Жыланчай»), украинской — «Телесик» и некоторых других [12. С. 301; 13. С. 52].

Тема бездетности настолько популярна в фольклоре, что в некоторые произведения она попадает случайно, не будучи связанной с сюжетом, как это произошло в казахском лироэпическом сказании «Раб и девушка» (Құл мен қыз) [14. С. 17—19]. Развитие сюжета сказания, героиней которого является девушка Кульджан, а не ее брат — единственный сын, вымоленный стариком отцом, противоречит традициям народного эпоса, по которым *ниспосланный небом наследник должен стать главным героем произведения...* Такое же механическое введение этой темы есть и в азербайджанской сказке «Шах и кузнец» [15. С. 162—167].

Уже в раннее средневековье легенды о бездетности проникают в письменную поэзию. Они отражены в произведениях Низами «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун», Алишера Навои «Фархад и Ширин», «Лейли и Меджнун» и др. [16. С. 140, 304; 17].

Вопрос о древних историко-этнографических основах и причинах широкого распространения темы бездетности весьма сложен.

Бездетность у всех народов во все времена считалась большим несчастьем. Отсутствие детей обрекало род на вымирание. Во времена кровавых столкновений между различными родами и племенами считалось тяжким преступлением убийство маленьких детей, особенно если это были последние представители рода. Работая над либретто оперы «Алтынчяч» («Золотоволосая»), основанном на народных сказках и героическом эпосе, М. Джалиль писал по поводу подобных отраженных в народном эпосе эпизодов: «Древние кочевые народы вели между собой непрерывные войны. Племена, терпящие в битвах поражение, старались спрятать от противника маленьких детей, чтобы обеспечить непрерывность существования своего рода или племени» [18. С. 416].

Отсутствие детей у представителей власти, у вождей племен или царей отрицательно сказывалось на исторических судьбах всей страны, всего рода или племени, часто являлось причиной междоусобных войн. В связи с этим возникали обряды и обычаи, направленные на сохранение потомства. У казахов и киргизов, например, существовал такой обычай: при рождении детям давали *особые имена*, которые якобы помогали сохранению потомства — девочек называли Тұрар (будет жить), мальчиков — Тұрсын (пусть живет). Иногда мальчикам, кроме обычного, давали и другое — отрицательное имя, например, *Жаманит* (поганая собака), что вроде помогало уберечь ребенка от злых потусторонних сил. И в казахских народных сказках встречаются имена *Жаман* 'дурной, плохой, ничтожный человек', *Ит-аяк* 'собачья нога'; в киргизской эпопее «Манас» измученный бездетностью Кокетей, чтобы сохранить жизнь сына, назвал его *Бокмурун* ('поганный нос') [19. С. 264, 342—343; 20. С. 298].

Бездетность влияла и на возникновение определенных отношений родства. В Древней Индии «отсутствие потомства считалось наихудшим злом. Больше всего это относилось к мужскому потомству, особенно в царских семьях» [21. С. 16]. Поэтому мойвился обычай усыновления: «отец в случае отсутствия у него потомства имел право, с согласия зятя, считать сына своей дочери не внуком, а сыном. Фактический отец в таком случае терял отцовские права» [21. С. 28]. Другой древнейший обычай разрешал «бездетной вдове сожительствовать с любым из родственников мужа (чаще всего это были его братья) или с чужим муж-

чиной, иногда даже за плату, причем родившийся ребенок считался потомком умершего мужа» [21. С. 16]. Это отразилось и в народном эпосе.

Приведенные данные, однако, еще не дают ответа на вопрос о причинах широкого распространения темы бездетности в фольклоре. Очевидно, они обусловлены представлениями о смерти и бессмертии. Известно, что идея бессмертия проходит через многие великие сказания древности. *Идея бессмертия* была широко распространена в древнеегипетском обществе. «Древние египтяне верили, что смерть означает не конец человеческого существования, а лишь переход в иной мир. В этой вере они не были ни одиноки, ни оригинальны, ее источники — жажда жизни и страх перед смертью — свойственны почти всем людям» [22. С. 188]. Для продолжения жизни в ином мире надо было сохранить в неприкосновенности тело умершего, с чем связывались строительство пирамид, мумификация и очень сложные погребальные обряды. Гробницы египетских фараонов и вельмож назывались «домами вечности» [23. С. 342—351].

В одном «из шедевров древневосточной эпической поэзии» [24. С. 17] — эпосе «О все видавшем» (XXIII—XXII вв. до н. э.) «подчеркивается тщетность погони за бессмертием» [24. С. 16]. С этой идеей древневосточного эпоса перекликается азербайджанская «Сказка об Искендер-шахе»; легенды, связанные с одним из главных героев огузского эпоса — Коркут-ата, искавшем бессмертия, но в конце концов погибшем от укуса змеи [15. С. 66—72; 1. С. 405; 25. С. 371—375; 26. С. 82—88].

Одним из героев иранской мифологии является Йима — «царь людей Золотого века, когда на земле не было смерти и страданий» [5. С. 240]. Этой идее созвучно начало древнеиндийского «Сказания о происхождении Смерти»: «Было время, когда смерти не знали на земле. Люди, потомки Вивасвата, вначале были бессмертными» [5. С. 25]. В древнеиндийских мифологии и эпосе, где самым большим даром для смертных является бессмертие, эта идея разработана так же широко, как и в Древнем Египте.

Идея бессмертия так или иначе находит отражение и в архаическом эпосе тюркских народов. «Мотив бессмертия героя занимает основное место в эпических произведениях якутов. Убитых героев оживляют при помощи воды бессмертия, героям олонхо не суждено стареть» [27. С. 9]. На подобных же древних представлениях основано и главное положение разных религий, утверждающих «бессмертие духовной сущности или души человека» [28. С. 48].

Все приведенные данные вплотную подводят к проблеме необходимости продолжения рода. В воззрениях некоторых народов идея загробной жизни не играла особой роли. Если в наиболее ранних мифах Древней Индии неоднократно встречаются выражения типа «отец возрождается в своем сыне» или «отец рождается вновь в своем сыне», то в более поздних они заменяются другими, отражающими несколько иные представления о необходимости потомства: «Каждый должен иметь сына., чтобы он чтит предков своих предписанными обрядами» [5. С. 142]. Нечто подобное наблюдается и у малагасийцев Мадагаскара, которым ребенок нужен для того, чтобы после смерти отца беспрекословно исполнять все требования культа предков — разана. Если человек умрет бездетным, некому будет исполнять эти обряды. Малагасиец считает себя составным звеном бесконечной цепи поколений. И он «может чувствовать себя спокойно на этом свете в том случае, если будет иметь детей, для которых он станет „предком“, которые будут

взывать к его духу, помнить о нем, напоминать о нем другим. Не став ни для кого „предком“, малагасиец как бы выпадает из этой цепи и умирает для поколений не только физически, но и духовно» [29. С. 156]. Как в данном случае, так и в некоторых других «продолжение индивидуального существования было связано исключительно с *потомством*, с продолжением рода» [30. С. 110]. Такие воззрения связаны с верой «в душу, способную отделиться от тела и самостоятельно существовать» [31. С. 99] в этом мире, «не отлетая» на небо или не переходя в какой-либо иной мир. Непонимание сущности смерти, неприятие ее как акта неизбежного и неотвратимого привело не только к возникновению идеи бессмертия, ярче всего отразившейся в образах и действиях эпических героев древности, но и исходило «из примитивного воззрения на природу души, воззрения, по которому *душа человека после его смерти продолжает жить в его детях*, в его потомстве, передаваясь этим последним как подлинная материальная часть родителя... Известно, что древнейшим термином для обозначения души было слово *pefesch*, а это последнее отождествлялось с кровью» [30. С. 110]. По библейским верованиям, кровь — это душа человека, и она передается потомству. Эта идея заложена и в древнегреческих мифах, и в «Метаморфозах» Овидия, которые представляют собой «самый большой и художественно самый совершенный *мифологический эпос* эллинистическо-римской эпохи» [32. С. 14]. Близкое к этому представление намного раньше встречается в вавилонском «Эпосе об Атрахасисе» (XVII в. до н. э.). Ибо «душа воспринималась вавилонянами как некая материальная субстанция, выходящая из человека вместе с кровью» [24. С. 56—57, 291]. Об этом же свидетельствует и другая вавилонская поэма «Когда вверху...» (XVI в. до н. э.), в которой рассказывается, как и из чего создал людей глава вавилонского пантеона Мардук:

Кровь соберу я, скреплю костями,
Создам существо, назову человеком [24. С. 44].

(Пер. В. Афанасьевой)

Аналогичные представления явились причиной возникновения «группы, прочно связанной постоянным, совместным, коллективным трудом и скрепленной кровным родством—*рода или родовой общины*» [33. С. 34]. Эти же взгляды рождали надежду на возможность бесконечного продолжения жизни. «При таком воззрении на бессмертие, естественно, бездетная смерть должна была считаться величайшим несчастьем» [30. С. 110]. Вот с этими достаточно древними представлениями и связано зарождение и широкое распространение легенд о бездетных родителях, об их нескончаемых муках и страданиях. Стадиально же появление таких легенд относится к периоду распада первобытно-общинного строя, когда возникает «*индивидуальная, или малая, семья*, состоящая только из родителей и их детей» [33. С. 210]. До этого подобные легенды не могли возникнуть, ибо при групповом браке «дети братьев от общих жен считались общими детьми единой братской, родовой крови» [30. С. 110]. При таком положении бездетных семей просто не могло быть.

Возникнув в глубокой древности, легенды о бездетности, влекущей за собой горе и страдания, начали свое многовековое путешествие по различным странам, вошли в произведения фольклора и литературы многих народов. Не будет, пожалуй, преувеличением сказать, что наиболее широкое и многостороннее развитие получили они в древнем и средневековом эпосе тюркоязычных народов Средней Азии и Казахстана, особенно в таких классических памятниках народного эпоса, как «Манас», «Алпамыш», «Кобланды-батыр».

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. *Жирмунский В. М.* Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. Л., 1979.
2. *Пропп В. Я.* Мотив чудесного рождения//Учен. зап. ЛГУ им. А. А. Жданова. Сер. филол. наук. 1941. Вып. 12, № 81.
3. «Манас»: Сагымбай Орозбак уулунун варианты боюнча. Фрунзе. 1979. I китеп.
4. «Повесть Петенса III»: Древнеегипетская проза. М., 1978.
5. *Темкин Э. Н., Эрман В. Г.* Мифы Древней Индии. М., 1982.
6. Три великих сказания Древней Индии. М., 1978.
7. *Короглы Х.* Огузский героический эпос. М., 1976.
8. «Книга моего деда Коркута»: Огузский героический эпос. М.; Л., 1962.
9. Қазақ ертегілері. Алматы, 1962. Т. 2.
10. «Кобланды-батыр»: Казахский героический эпос. М., 1975.
11. Русские народные сказки Сибири о богатырях. Новосибирск, 1979.
12. Татар халык ижаты: Экиятләр. Казан, 1977. I китап.
13. Украинские сказки и легенды. Симферополь. 1966.
14. *Дүйсенбаев Ы. Т.* Қазақтың лиро-эпосы. Алматы. 1973.
15. Азербайджанские сказки. Баку, 1977.
16. *Низами.* Стихотворения и поэмы. Л., 1981.
17. *Алишер Навои:* Сочинения в 10 т. Ташкент, 1965. Т. 4, 5.
18. *Муса Джалиль.* Сочинения. Казань, 1962.
19. Казахские сказки. Алма-Ата, 1958. Т. 1.
20. Манас. Фрунзе, 1981. 2 китеп. (пер. имен приблизительный. — Ф. У.).
21. *Ильин Г. Ф.* Старинное индийское сказание о героях древности «Махабхарата». М., 1958.
22. *Замаровский В.* Их величества пирамиды. М., 1981.
23. *Котрелл Л.* Во времена фараонов. М., 1982.
24. «Я открою тебе сокровенное слово»: Литература Вавилонии и Ассирии. М., 1981.
25. Қазақ ертегілері. Алматы, 1957. Т. 1.
26. Қазақ фольклорының типологиясы. Алматы, 1981.
27. *Бегалиев С.* О поэтике эпоса «Манас». Фрунзе, 1968.
28. *Корнев В. И.* Буддизм и его роль в общественной жизни стран Азии. М., 1983.
29. *Кулик С.* Когда духи отступают. М., 1981.
30. *Штернберг Л. Я.* Первобытная религия в свете этнографии. Л., 1936.
31. *Токарев С. А.* Ранние формы религии и их развитие. М., 1964.
32. *Ошеров С.* Поэзия «Метаморфоз»//В кн.: Овидий. Метаморфозы. М., 1977.
33. *Косвен М. О.* Очерки истории первобытной культуры. М., 1957.

О Н О М А С Т И К А

Г. Ф. САТТАРОВ

ОЙКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ
«ГОРОД» И «СЕЛО» В ИСТОРИИ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА
И ТОПОНИМИИ

В ономастике для обозначения собственного имени любого поселения (как городского, так и сельского типа) употребляется термин *ойконим* [1. С. 93]. Данная статья посвящена историко-лингвистическому анализу ойконимических терминов со значением «город» и «село», их роли в истории татарского языка и топонимии Татарской АССР.

В древнетюркском языке в значении «город» использовались ойконимические термины *tuqa* и *balıq*. Слово *tuqa* [2. С. 587] обозначало также «укрепленное жилище, крепость». Генезис слова *тура* ~ *тора* 'город' раскрывается при помощи корня *тор*, от которого образован глагол *тору* 'жить, существовать, проживать'. В татарском языке корень *тор* входит также в состав таких слов, как *торак* 'жилище, квартира', *торлак* 'помещение для скота', *торгызу* 'поднимать, строить, построить', *йорт торгызу* 'построить избу', *тормыш* 'жизнь' и т. д.

В языке сибирских татар слово *тора* известно в значении 'город'. Н. Абрамов писал: «В Сибири первое татарское владение находилось на реке Ишим, столицей которого считался город Кызыл Тура» («Красивый город». — Г. С.) [3. С. 4].

Ойконимический термин *tuqa* оставил заметный след в топонимии РСФСР. Например, активное участие он принимал в образовании двусоставных названий городов Сибирского ханства: Чимги-тура, Касым-тура, Бицык-тура, Тобол-тура и т. д. Город Тюмень был основан в 1586 г. на правом берегу р. Туры, на месте бывшего городка Чимги (<Чинги) — Туры. В настоящее время сибирские татары город Ялуторовск называют Яулы тора 'военный город', а город Томск — Том-тора, Тюмень — Төмән-тора, Ишим — Ишим-тора, Омск — Ом-тора и т. д.

Г. Ф. Миллер происхождения названия р. Туры, левого притока Тобола, сводит к сибирско-татарскому слову *тура* ~ *тора* 'город' [4. С. 193]. На берегу Туры расположены города Верхняя Тура, Нижняя Тура, Верхотурье, Туринск и деревня Туринская слобода (все — в Свердловской области).

Алтайский город Горно-Алтайск раньше назывался Ойрот-Тура, Кузнецк — Абатура, Байск — Яштура ('молодой город') и т. д.

На карте XVI в. [5] на р. Каме значатся город Алатур, расположенный выше г. Елабуги (Алабуга), и город Балатур, находящийся на р. Уфе. Об Алатыре упоминает Хисаметдин бин Шарафутдин Муслими.

«Мне думается, — пишет А. Б. Булатов, — что у этого автора речь шла именно об Алатыре на Каме, а не об Алатыре на Суре» [6. С. 180].

В названиях перечисленных городов слово *тор* (тора~тура) означает 'город', *ала* (<олы) 'большой', а *бала*—'маленький'. Таким образом, Алатыр — это «большой город», а Балатыр—«маленький город».

В старобашкирском языке слово *тура*~*тора* известно в значении «крепость», «городок». Отсюда и название гор Таратау и Тыратау. Крепость Уфа, основанная в 1574 г., первоначально называлась Тура-тау и Имән-кала.

В эпоху Казанского ханства на Алатской дороге находились татарские деревни Тура и Иске Тура 'Старая Тура'. В основе этих ойконимов лежат древнетюркские ойконимические термины *тура*~*тора*, 'город, городок, укрепление, крепость', по всей вероятности, употребляемые в старотатарском языке. В Татарской АССР, в Высокогорском и Зеленодольском районах расположены русские деревни Иске Тура 'Старая Тура' и Яңа Тура 'Новая Тура'.

По данным «Этимологического словаря тюркских языков» [7], ойконимический термин *балык* (*balik*) 'стена, обнесенная стеной', 'город, окруженный стеной', 'крепость', 'загородка' образует омонимичную пару со словом *балык* (*ba:lik*) 'рыба'.

Подобное мнение, т. е. интерпретация этих слов как омонимичных бытует и среди зарубежных ученых. Например, американский ученый К. Д. Бук пишет, что между этими словами нет ничего общего, кроме чрезвычайно близкой формы. Следует отметить, что типологически в разных языках большинство слов со значением «город» восходит к словам со значениями «ограда», «укрепленное место», «место», «жилье» [8. С. 1307]. Э. В. Севортян, поддерживая точку зрения С. Е. Малова, генезис слова *балык* 'город' сводит к корню *бал* 'глина' [7. С. 59]. Чувашский языковед Г. Е. Корнилов слово *палы(къ)* 'город, столица' приводит в значении «стадо», «стая», «табун» [9. С. 98].

Затрагивая этимологию слова *balik* 'город', 'поселение', Д. Синор предполагает, что термин *baluk* в тюркские языки проник из угорских, в которых он употреблялся в форме *palu* ('v). Данная лексема с общим значением «город», «поселение» [10. С. 99] распространена также в монгольских (*balγasun*) и маньчжурских языках (*falga*), что в некоторой степени свидетельствует о причастности данного слова к алтайской общности языков.

Ойконимический термин *балык* 'город' представлен в основном в исторической топонимии: Бешбалык в Синьцзяне, Ханбалык — название Пекина в средние века, в Туркестане — Аругбалык, Симезбалык, Янгибалык и т. д.

Древнетюркский ойконимический термин *балык* 'город' лежит в основе и названия деревни Балык Бистәсе 'Рыбная Слобода' — центра Рыбно-Слободского района ТАССР. В [11. С. 122] о деревне Балык Бистәсе помещены следующие сведения: «Из ее названия видно, что первыми поселенцами здесь были рыбаки. Рыбу, вероятно, посылали во дворец казанскому царю. В конце XVI века Борис Годунов велел землемерам записать всю свободную землю на имя царя. Сначала здесь жили дворцовые и ремесленники, а затем поселились рыбаки, которые должны были ловить для царя рыбу и собирать оброк».

Анализ показывает, что первый компонент словосочетания *балык бистәсе* следует связывать не со значением «рыба», а скорее всего со словом *балык* 'город'. Все сочетание имело значение «городская слобода», а его народное переосмысление в «рыбную слободку» произошло

потом, вследствие постепенной архаизации значения «город» и преобладающего употребления слова *балык* в значении «рыба».

В составе топонимов ТАССР сохранились и другие архаичные ойконимические термины, имеющие значение «город» или «крепость». Например: *кар*, *кирмән*, *ката* ~ *катау* (рус. катав), *курган*, *ор*, *тау* (последний в переносном значении), *чардак* [12].

Топокомпонент *кар* имеет значение «город», «крепость», «деревня» в составе чувашского названия города Шупашкар (рус. Чебоксары), а также в составе названий ряда городов и деревень у восточных финно-угорских народов: Моркар, Муркар, Сыктывкар, Изкар, Кудымкар, Шурьмкар, Шурышкар и др. Э. М. Мурзаев считает, что топокомпонент *кар* заимствован из иранских языков [13. С. 13].

Исторические источники свидетельствуют, что во времена Казанского ханства на Алатской дороге стояла деревня Кышкар. В Арском же районе находится деревня Кышлау. Эти топонимы по своей семантике связаны со словом *кышлак*, известным в Средней Азии в значении «деревня» (ср.: азерб. *гышлак*, кирг. *кыштак*, алт. *кыштау*, хакас. *хыстаг*, тув. *кыштаг*, каз. *кыстау*, узб. *кишлок*, туркм. *гышлак*, якут. *кыстык*, башк. *кышлау* 'зимовка').

Кышкар является гибридным ойконимом, состоящим из тюркского компонента *кыш* 'зима' и древнеиранского компонента *кар* 'город', 'крепость', 'деревня', что в совокупности означало 'зимовать в городке', а Кышлау — собственно тюркское название, означающее 'зимовать в деревне'. Ср.: тат. *кышлау* 'зимовать, перезимовать' [14. С. 243], *жэйләу* 'жить на легкой стоянке, летовать, быть на летних пастбищах' [15. С. 806]; Аккыстау — название городка (центра Новобогатинского района Гурьевской области Казахской ССР), Кыштау (рус. Кыштовка) — название деревни сибирских татар (центра Кыштовского района Новосибирской области), Иске Кышлау — название башкирской деревни в БАССР и т. д.

В языке волжских булгар для обозначения понятия «город, крепость, село» употреблялся ойконимический термин *кирмән*, который и в настоящее время в значении «город» характерен для касимовского говора среднего диалекта татарского языка. Местные татары город Касимов называют Кирмән. В средние века тюркские народы город Киев называли Манкирмән: булг. *ман*: 1) большой, старший, 2) великий + булг. *кирмән* 'город', т. е. «великий город» (ср.: Бөек Болгар 'Великие Булгары', 'Новгород Великий' и т. д.).

Н. И. Золотницкий выдвигает предположение, что *кирмән* происходит от арабского *эл-гарам*, *харам*, *гарем* 'неприкосновенный, священный, огражденный, укрепленный' [16. С. 26].

В марийский язык слово *карман* 'крепость' проникло из языка волжских булгар. В марийском языке слово *ор*, заимствованное у булгар (ср.: Арча (от *орча* 'маленькая крепость') — центр Арского района ТАССР), употребляется также в значении «крепость» [17. С. 180, 389].

В исторических источниках Хазарского каганата и Волжской Булгарии упоминаются полисинимы с компонентом *кирмән*. Так, на территории Хазарии находилась основательно укрепленная крепость-замок Герменчик, сохранившаяся в Терско-Сулакском междуречье [18. С. 191]. Во второй половине XIII в. в Волжской Булгарии возникают города Жүкәтау, Кирмән (~ Кирмәнчек), Иске Казан, Этрәч или Мөнөйле Шунгат, Тубылгытау — центры удельных княжеств [19. С. 61]. Отличительной особенностью этих городов являлось увеличение размеров кремлей, вокруг которых концентрировались обычно неукреплен-

ные посады. Следовательно, эти города возникали не как крепости, а, в первую очередь, как ремесленные центры, в которых наряду с ремесленниками жили крупные феодалы, представители духовенства и богатые купцы. В связи с этим можно прийти к выводу, что на данном этапе исторического развития ойконимический термин *кирмэн* означал «город» в смысле не только как «крепость», «укрепление» (как, например, в эпоху Хазарского каганата), но и как центр экономической, политической и культурной жизни государства.

Во времена Казанского ханства на Зюрейской дороге продолжала существовать болгаро-татарская деревня Кирмэн (Татар Кирмэне). В верховьях р. Меши находилась татарская деревня Таукирмэн или Ханкирмэн (Лайшевский район ТАССР). На Нагорной стороне имелась деревня Кирмели (<Кирмэнле 'Крепостная'.—Г. С.), на Ногайской дороге — деревня Ташкирмэн [20. С. 286, 288]. В состав Мамадышского района ТАССР входят деревни Урта Кирмэн, Кече Кирмэн (деревни казанских татар) и Рус Кирмэне. Около этих деревень протекает речка Кирмэн. Таким образом, ойконимический термин *кирмэн* входит в состав названий нескольких деревень в Заказанье, которые через многие века донесли до нас сведения о наших предках—волжских булгарах. Этот термин очень близок по своему значению к слову «кремль», употребляемому в русском языке. Интересно, что Б. А. Серебренников [21] в коми слове *кар* 'город' видит усеченное камско-булгарское *карман* 'крепость'.

Названия городов, образованных от ойконимического термина *кирмэн* ~ *керман* можно найти в южных районах нашей страны (на территории бывшего Хазарского каганата и Приазовской Булгарии): Инкерман — в Крыму, Кременчуг, Аккерман (сейчас Белгород-Днепровский) — на Украине, Керман в Баксанском ущелье на Северном Кавказе и Кермен — в Болгарии и т. д.

На Средней Волге и Урале расположены населенные пункты, в названия которых входят ойконимические термины *ката* ~ *кэтэ*—*катау* (рус. катав). Термины *ката* (*кэтэ*), *катау* имеют значения «жилище», «крепость» [22. С. 263, 264]. Акад. Ф. Е. Корш писал об общности слов *хата* 'дом' в украинском языке, *хат* в языке остяков и *кат*, *кот* 'крепость' в индийском языке [23. С. 18; 24].

В. И. Абаев происхождения ойконимического термина *ката* связывает с корнем *кан* 'рыть', 'копать', 'насыпать', 'громоздить'. Отсюда *ката* 'дом' и *kanṭa* 'город', в древнеиндийском языке *kanṭa* 'городская стена' [22. С. 108] и т. д.

В Черемшанском районе ТАССР есть большая татарская деревня Бэркэтэ (рус. Беркет-Ключ), в Дюртилинском районе БАССР — башкирская деревня под названием Баргаты 'Баргата'. Данные ойконимы можно разложить на компоненты *бар* ~ *бор* ~ *бэр* ~ *бөр* ~ *бөре* ~ *бүре* *пүре* 'склон, скат, спуск горы' [23. С. 34]. Ср.: кирг. *боор* 'склон небольшой горы'; монг. *бори* 'склон; скат, спуск горы'; бурят. *боори* 'возвышенность, возвышенное место; подножие горы'; эвенк. *бор* 'горка', *бориш*: 1) каменная сопка; 2) возвышенность (покрытая горелым лесом); орок. *боори* 'возвышенность (небольшая, без леса и кустарника)', тат. *бөрмә* 'складки, сборка': *бөрмәле* 'складчатый, со складками'; *бөреш* 'сборки' (напр., на юбке), *бөрү* 'делать (сделать) сборки, складки' и т. д. и *гата* ~ *ката* ~ *кэтэ* 'жилище', 'крепость', 'город', т. е. 'жилище, деревня, крепость; город на склоне или подножие горы' [25].

В Челябинской области расположены города Катав-Ивановск и Усть-Катав. Катав-Ивановск находится на р. Катав, а Усть-Катав — в ее устье. В 1755 г. заводчик и купец Иван Твердышев купил землю

у башкир и основал город Катав-Ивановск. В 1758—1759 гг. этот же промышленник основал в устье р. Катав вспомогательный Усть-Катавский железодельный завод. Катав-Ивановск стал городом в 1939 г., а Усть-Катав— в 1942 г. В. А. Никонов происхождение названия р. Катав связывает с башкирским словом *катыу* 'пересыхающий', 'загрязняющийся' [27. С. 183]. Но в башкирском языке слово *катыу* в данном значении неизвестно. А. К. Матвеев пишет, что в источниках XVIII в. название р. Катав записано в виде Катава и Катау, происхождение которых он связывает с башкирским или другим тюркским языком [28. С. 130], но точную этимологию не приводит. На наш взгляд, в основе гидронима Катау (Катав) лежит древний ойконимический термин *ката* ~ *катау* 'жилище', 'крепость', 'город'. На берегу этой реки когда-то находился укрепленный населенный пункт, военный городок, крепость (катау), давший потом свое название и р. Катау, а р. Катау, в свою очередь, дала название вышеназванным городам.

В Узбекистане в Самаркандской области расположен город Катта-курган (рус. Катта-Курган). По своей структуре этот полисоним является гибридным, т. к. состоит из ирано-индийского компонента *катта* 'город', 'крепость' + тюркский *курган* 'крепость', 'сооружение на холме'. Э. М. Мурзаев указывает, что в древности в Средней Азии термин *кат* употреблялся в значении «город», «столица» [29. С. 247].

В Поволжье ойконимический термин *курмыш* ~ *кармыш* ~ *кормаш*. образованный от корня *кор* 'строй, закладывая', имел значение «деревня, поселок». В Апастовском, Октябрьском и Сармановском районах ТАССР расположены татарские деревни с названием Кормаш.

На территории нашей страны насчитывается большое количество полисонимов, имеющих в своем составе ойконимический термин *курган* 'город', 'крепость' + тюркский *курган* 'крепость', 'сооружение на холме', 'укрепление', 'крепость', 'город'. Например, на Урале центр Курганской области — город Курган, в Узбекистане—Аккурган, Кургантепа, Өчкурган, в Казахстане — Талды-Курган, в Кызыл-Ординской области — рабочий поселок Яныкурган, в Таджикистане — Курган-Тубэ, в Краснодарском крае — Курганинск; Кургановка — в Кемеровской области, Матвеев Курган — в Ростовской области. Интересно заметить, что в [2. С. 335] данный термин упоминается в географическом названии *Мауїқуғап* 'место зимовки войска Кюль-Тегина перед походом на огузов' [30].

Происхождение ойконимического термина *кент*, *кэнд*, наблюдаемого на обширных пространствах Средней Азии, Казахстана, РСФСР, на Кавказе, в Китае, на Среднем Востоке, в Малой Азии, также связано с культурой оседлого населения. В словаре Махмуда Кашгарского данное слово приводится в значении «город», «селение», «кишлак» [32. С. 22].

Большинство лингвистов считают, что топоним *кэнд* — иранского происхождения. Пытаясь объяснить этимологию полисонима Самарканд, Т. Рахматов отмечает, что второй компонент названия представляет собой очень древнее заимствование, причем тюркские эквиваленты *känd*, *k'ent* (совр. *käd*, *ket*) первоначально имели значение «город», а потом «селение» [33. С. 47]. *Känd* в значении «город» встречается уже в древнетюркских памятниках.

В старотатарском литературном языке слово *кэнд* употреблялось в значении «пригород», «село» [34]. Так, татарский поэт XVII в. Мавля Колый пишет, что его хикметы «Әйтелде шәһре Болгар кәндләрендә»

(«высказаны (сочинены) в пригородах (или близлежащих селениях) города Булгара»).

Ойконимический термин *кала*, принимающий довольно активное участие в образовании ойконимов на исследуемой территории, относится к древним заимствованиям, проникшим в тюркские и иранские языки из арабского. В арабском языке ойконимический термин *قلوه* (кальга) 'курган, крепость, укрепление, замок' [35. С. 200], произносимый в булгаро-татарском языке как *кала*, употребляется также в значении «город».

Термин *кала* входит в состав названий городов Волжской Булгарии Калатау и Қызкала. Из приведенных примеров видно, что термин *кала* не имеет строго фиксированной локализации в составе болгарских топонимов: он может встречаться как в начальном положении, так и в финальном.

Город Нижний Новгород (ныне Горький) раньше чувашами назывался Чулхала ('Каменный город'). В Татарии в Новошешминском районе деревня Яна Чишмә (рус. Новошешминск) имела название Яңа кала 'Новый город', а город Свияжск—Зөя каласы.

Ойконимический термин *кала* 'город', вошедший в состав многих топонимов ТАССР, нашел свое отражение и в ее микротопонимии: Кала сазы—название болота (Высокогорский район, дер. Юртыш), Кала тавы—название горы (Муслюмовский район, дер. Яна Сәет), Калатау—название леса (Зеленодольский район, дер. Югары Шырдан), Калатау название горы (Сабинский район, дер. Кутерняс), Кала Юлы — название дороги (Лаишевский район, дер. Татар Сараланы; Куйбышевский район, дер. Урта Йорткул), Кала як басуы — название поля (Высокогорский район, дер. Урта Алат) и т. д.

Ойконимический термин *шәһәр* 'город' проник в татарский язык из персидского и выступает синонимом термина *кала* с тем же значением „город“. Слово *кала* употребляется в основном в разговорном татарском языке (например: *Казан каласына барам* 'Поеду в город Казань', *Зөя каласы белән таныштым* 'Я ознакомился с городом Свияжском' и т. д.), а *шәһәр* активно используется в языке науки и прессы (например: *Казан шәһәре кунаклары* 'Гости города Казани'; *Минзәлә шәһәре хезмәтчәннәре* 'Труженики города Мензелинска' и т. д.). Ойконимический термин *шәһәр* 'город' в татарской микротопонимии нами зафиксирован лишь в одном случае: Ур шәһәре — название высоты (Камско-Устьинский район, дер. Олы Қариле).

Ойконимический термин *санҗар*, известный в персидском языке в значении «укрепление», «крепость», в топонимии нашего региона не употребляется; что касается антропонимии, то у татар-мишарей сохранились фамилии, образованные от личного имени Санжар 'крепость', например, Саниаров, Санжаров, Санджаров и Санзяров.

В чистопольском и хвалынском говорах западного диалекта, в мамадышском говоре среднего диалекта татарского языка в значении «город» употребляется слово *гурт* (рус. город).

О лексическом богатстве татарского языка свидетельствуют слова со значением «село», образующие довольно большой синонимический ряд: *авыл, ил, кышлау, сала, йорт, юрта, кормыш, кырый, бүләк, диризнэ, пучинка, хутыр*.

Ойконимический термин *авыл* 'деревня', 'село' очень широко распространен в татарском языке и во всех его диалектах и говорах. В древнетюркском языке слово *агыл* зафиксировано в значении «загон для скота» [12. С. 18].

По мнению Н. Б. Бургановой, в разговорном татарском языке слово *авыл* (аыыл) стало активно употребляться сравнительно поздно [36. С. 51]. В эпоху Казанского ханства этот термин в названиях деревень не встречался.

Тополексема *авыл* хотя и не часто, но входит в название деревень (комонимов), расположенных в трех территориальных зонах (в Заказанье, в Нагорной стороне и в Закамье) Татарии. Например, Иске авыл — татарская деревня в Октябрьском и русская деревня в Алькеевском районах, Яңа авыл, Варклэд авыл — татарская деревня в Агрызском районе, Яңа авыл (Яңаавыл) — в Актанышском, Буинском, Высокогорском районах, Югары Авыл, Түбән авыл — татарские деревни в Мамадышском и Кукморском районах. В Зеленодольском районе местные татары русскую деревню Албаба называют Яңаавыл. В этом же районе у жителей деревни Түбән Урысбага деревня Югары Урысбага имеет название Югары авыл 'Верхняя деревня', а у жителей деревни Югары Урысбага деревня Түбән Урысбага — Түбән авыл 'Нижняя деревня'; жители деревни Олы Ачасыр деревню Кече Ачасыр называют Кече авыл 'Малое село', а жители деревни Кече Ачасыр деревню Олы Ачасыр — Олы авыл 'Большое село'.

Ойконимический термин *авыл* участвует в образовании большого количества микротопонимов Татарии: Авыл асты — название луга (Высокогорский район, дер. Чәмәк), Авыл башы — название поля (около дер. Кече Шырдан в Зеленодольском районе), Авыл елгасы — название реки (Черемшанский район, дер. Туймәк; Высокогорский район, дер. Айбаш), Авыл кизләве — название родника (Муслюмовский район, дер. Елгабаш), Авыл чишмәсе — название ключа (Мамадышский район, дер. Олыяз), Авыл кыры — название поля (Куйбышевский район, пос. Звезда; Высокогорский район, дер. Кондырлы), Авыл коесы — название колодца (Апастовский район, дер. Кушкул) и т. д.

В древнетюркском языке слово *эл* употреблялось в следующих значениях: 1) племенной союз; 2) народ; 3) государство [2. С. 168—169]. Ойконимический термин *ил* 'деревня', 'село' в татарском языке (ср.: башк. *ил*, кумык., карач.-балк. *эл*, чуваш. *ел* 'деревня') является наследием волжско-булгарского языка. Данный термин входит в состав названий ряда булгаро-татарских (старинных) деревень Татарии, таких, как Казиле, Кариле, Мулла иле (автор этих строк уроженец дер. Мулла иле 'Молвино' Зеленодольского района ТАССР), Дәрвиш иле, Кибәк иле, Тау иле, Улан иле, Чирмеш иле, Чуваш иле, Нократ иле, Кәче иле, Чүриле, Ялаг иле, о существовании которых было известно уже в эпоху Казанского ханства. В Кукморском районе находятся татарские деревни Бул иле, Йанил (< Яңа ил), а в Арском — русская деревня Яңа Чүриле.

Ойконимический термин *ил* в значении «деревня», «село» употребляется в среднем и западном диалектах татарского языка. Довольно активно он применяется в отдельных говорах и подговорах этих диалектов.

Исторические данные свидетельствуют, что во времена Казанского ханства на Алатской дороге находились деревни Бәрәскә 'Верески' и Кече Бәрәскә 'Верески Малые' [20. С. 285]. Происхождение комонима Бәрәскә можно связать с хазарским личным именем. В греческом языке слово *параски*, известное в значении «пятница», повлияло на образование в русском языке женского имени Прасковья (греч. *Paraskevē* 'приготовление, канун праздника; пятница'. Праздником в древности считалась суббота) [37. С. 517]. К хазарам слово *бараски* 'пятница' пришло от евреев. В армянско-кыпчакском, карачаево-балкарском и

караимском языке четверг имеет название «кичи бараски», а пятница — «улу бараски».

Вероятно, у хазар был обычай детям, родившимся в пятницу, давать имя Бараски, ср.: греч. *Paŋaskevē* (отсюда рус. Прасковья) 'пятница'; своеобразными заменителями этого имени выступают болг. Петка 'пятница', лат. Венера, поскольку день пятница у многих народов посвящался планете Венере, ср.: алб. *Pŋenda* 'пятница', употребляющееся также у болгар [38. С. 517—518], и старотатарские личные имена арабо-персидского происхождения: Жомга ~ Йомга ~ Жома ~ Йома 'пятница', 'неделя' (составные: Жомагол ~ Йомагол, Жомабикэ, Жомакилде и т. д.); Атна ~ Этнэ 'пятница', 'неделя' (составные: Атнагол ~ Азнагол, Этнэхужа, Атнабай ~ Азнабай, Атнакилде и т. д.).

В древние времена с наступлением весны хазары вместе со стадами направлялись к северу вдоль берегов Волги и ее притоков, а осенью возвращались на Нижнюю Волгу. Хазарское или болгарское личное имя Бараски ('Пятница'), превратившись в Заказанье в антропотопоним Бэрэскэ, сохранилось до наших дней в виде Түбэн Бэрэскэ, Югары Бэрэскэ. Итак, антропокомоним Бэрэскэ из глубины веков доносит до нас довольно интересную историко-лингвистическую информацию.

В татарский язык ойконимический термин *сала* 'деревня', по всей вероятности, проник из славянских языков (в древнерусском языке 'село'). В письменном памятнике периода Казанского ханства в «Ярлыке хана Сахиб-Гирея» (1523 г.) слово *сала харжы* зафиксировано в значении «деревенский оброк» [38. С. 31—32]. В касимовском говоре среднего диалекта татарского языка большую деревню называют *сала* (например: Дүртсала, Биесала и т. д.), а маленькую — *диривна* (рус. деревня).

В ойконимии Татарии с участием термина *сала* образовались наименования татарских деревень Яңа Сала 'Новое село', 'деревня', находящихся в Арском, Высокогорском и Камско-Устьинском районах.

В настоящее время ойконимический термин *жорт* в разговорном языке казанских татар и *йорт* в литературном языке и мишарском диалекте татарского языка в значении «село», «деревня», «населенный пункт» не употребляется, а служит прежде всего для обозначения понятий «дом», «жилье». В старотатарском же языке этот термин имел значение не только «дом», «жилье», но и «село», «деревня», «населенный пункт». Сибирские татары понятия «село», «деревня» выражают также словом *юрта* (от корня *йорт* «деревня»), например: Эндрэй юрта, Саускан юрта, Әримзэн юрта и *ауыл*, например: Саускан ауыл, Әримзэн ауыл и т. д. Русские селения сибирских татар издавна называли юртами: Ембаев юрт, Епанчи (Япанчин) юрт, Саусканские юрты, Сузгунские юрты, Шамшинские юрты [4. С. 59; 596, 602, 603, 607] и т. д. У тюркских народов в древние времена слово *йорт* (*юрта*) наряду со значением «территория кочевья», «местожительство» имело значение «государство», «страна»: Пулак йорты [39. С. 42], Себер йорты, Болгар йорты, Казах йорты, Урыс йорты 'Русское государство' [40. С. 459].

В старотатарском языке с участием слова *йорт* было образовано довольно большое количество мужских имен: Йортай, Йортаман, Йортбагыш, Йортбак, Йортлыбай, Йортмөхәммет, Йортый, Йортыш (отсюда и название деревни Юртыш в Высокогорском районе ТАССР). Давая это имя своему ребенку, родители хотели, чтобы их сын имел спутницу жизни, свой собственный дом и стал бы опорой их семьи, дома. Позже эти имена легли в основу таких татарских фамилий, как Юртаев, Юрташев, Юртаманов, Юртбагышев, Юртыев, Юртеев и т. д.

Из записей К. Насыйри видно, что в старотатарском языке слово *йорт* употреблялось в значении «село», «деревня», «населенный пункт»: «Шырдан кыры элгәре Беловалга кырына тоташкан икән, дип сөйләләр. Аннан соң, хәзер Иске йорт дип әйтәләр...» 'Говорят, что Ширданское поле раньше присоединилось к Беловальскому полю. Сейчас его стали называть Иске йорт...' [41. С. 14].

Поля, луга или другие места, на которых когда-то находились татарские деревни, и сейчас называют *Иске йорт*, *Йорт өсте* или *Йортлар өсте*.

В топонимии ТАССР ойконимический термин *йорт* 'село, деревня', 'населенный пункт' участвовал и в образовании названий татарских деревень (т. е. ойконимов), например: Иске Йорт (в Арском, Пестречинском и Кукморском районах), Урман асты Йорткүл, Урта Йорткүл, Кырый Йорткүл (в Куйбышевском районе).

В значении «новая деревня, отделившаяся от большой» или «часть большой (старой) деревни» в татарском и башкирском языках употребляется ойконимический термин *бүләк*. Прежде всего, необходимо сказать, что в ономастике тюркских народов (татар, башкир, и т. д.) это слово, будучи омонимичным, способствует образованию ойконимических терминов с различными значениями.

О происхождении географического номенклатурного термина *бүләк* существуют разные мнения. Р. Х. Субаева считает, что этот термин образовался в результате эволюции *балак*→*булак*→*бүләк* [42. С. 143]. П. И. Кеппенем [43. С. 186] слово *беляк* рассматривается как этноним. А. Артемьев останавливается на 10 названиях черемисских деревень, в образовании которых принимал участие этот термин: «Эти деревни входили в состав хуторов Казанского татарина Беляка — именитого человека» [44. С. 74]. М. Г. Сафаргалиев справедливо считает, что топонимический термин *бүләк* образовался от слова *бүләк* 'дар, подарок, пожаловать', которое употреблялось в эпоху Золотой Орды и последующие периоды в значении «надел земли, выделенный со стороны хана именитым людям, военачальникам, феодалам за определенные заслуги». В русском же языке указанное слово приняло форму *беляк* [45. С. 70—71]. Этим подтверждается предположение, что в Татарии четыре-пять веков тому назад образовались названия деревень Бай Бүләк (Сармановский район), Тигән Бүләк (Алексеевский район) и т. д. Ср.: в 1792 г. запорожские казаки, пришедшие на Кубань, по приказу Екатерины II заложили там город Краснодар, который до 1920 г. назывался Екатеринодар, т. к. это место считалось «даром Екатерины».

В Мензелинском говоре, в говоре уральских татар (Пермская область) среднего диалекта и в байкибашевском говоре (БАССР) западного диалекта татарского языка топонимический термин *бүләк* известен в значении «мелкий лес, полесье» [46. С. 110]. Башкирский топонимист Р. З. Шакуров пишет: «Буляки, как правило, — это разделенные на отдельные участки липовые леса, липянки, горно-овражистые участки земли» [47. С. 143].

Термин *бүләк* в данном значении способствовал образованию названий лесов Озын бүләк и Чытырлы бүләк, а также поля Бүләк асты около деревни Урсалыбаш Альметьевского района ТАССР. Кроме того, этот термин дал название таким татарским деревням, как Балан Бүләк ('Заросли калины') в Бавлинском районе, Таллы Бүләк ('Заросли ивы') в Азнакаевском и Бугульминском районах, Чикләвек Бүләк ('Орешник') в Азнакаевском районе ТАССР.

Термин *бүләк* имеет также значение «новая деревня, отделившаяся от большой (старой) деревни». Данный ойконимический термин лежит в основе названий татарских деревень Бүләк (в Актанышском и Муслюмовском районах ТАССР). В Башкирской АССР деревень с названием Бүләк — десятки.

Слово *бүләк* в названиях таких деревень, как Октябрь бүләге, Кызыл Бүләк, Яна Бүләк, Көрәш Бүләк, Көчле Бүләк и т. д. (в восточных районах ТАССР), благодаря первым компонентам в функции определения, употребляется в новом значении: социалистическая революция, новое общество, новая жизнь. Эти деревни, отделившиеся от больших деревень, образовались в период коллективизации, т. е. в 30-х годах.

Слово *бүләк* послужило также основой для образования личных имен у татар, башкир и других тюркских народов. Раньше, по существующему обычаю, имя Бүләк давалось младенцу, у которого до рождения умирал отец или после рождения умирала мать. Таким образом, имя Бүләк имело значение «дар, подарок отца или матери». Будучи тесно связанной с данным обычаем, антрополексема *бүләк* участвовала и в образовании сложных татарских личных имен типа Акбүләк, Байбүләк, Бүләкбай, Бүләкбикә, Бүләкбирде, Бүләккол, Ирбүләк, Ишбүләк, Тинбүләк, от которых взяли начало фамилии Акбүләков, Байбүләков, Бүләкбаев, Ирбүләков, Ишбүләков и т. д.

В основе топонимического термина и антрополексемы *бүләк* лежит нарицательное имя *бүләк*. Этимологию этого слова связывают с корнем *бул* 'делать, разделять, расчленять' и словообразовательным аффиксом *-әк*. В татарском языке от данного корня образованы такие слова, как *бүләк* 'дар, подарок; награда', *бүлек*: 1) отдел, отделение; 2) раздел, глава (в книге), *бүлекчә* подотдел; *бүлем*: 1) отдел, отделение; 2) переборка, загородка, *бүлмә*: 1) комната; 2) перегородка и т. д.

В камско-устыинском подговоре нагорного говора среднего диалекта татарского языка для обозначения понятий «крайняя деревня», «крайняя сторона» употребляется ойконимический термин *кырый*. В говорах Заказанья и Нагорной стороны, а также в бирском и касимовском говорах среднего диалекта татарского языка ойконимический термин *пучинкә* (рус. починок) выступает в значении «маленькая деревня, выделившаяся из большой (старой) деревни». Например, в Татарию встречаются татарские деревни с такими названиями, как Пучинкә Енай (в Апастовском районе), Сосна пучинкәсе (в Балтасинском районе), Шәмәрдән пучинкәсе (в Кукморском районе) и т. д.

Ойконимический термин *хутор*, заимствованный из русского языка, имеет значения «небольшой сельский населенный пункт», «маленькое селение», «выселки» и в татарских говорах Заказанья, Нагорной стороны произносится как *хутыр*, а в мензелинском — как *кутыр*. Данный термин иногда встречается в составе микропонимов: Хутыр чалуы — название луга (Зеленодольский район, с. Мулла иле), Хутыр урман — название леса (Апастовский район, дер. Зур. Болгаер), Хутыр ягы басуы — название поля (Кукморский район, дер. Ядегар), Кутыр шәмлеге — название (молодого) соснового бора (Мензелинский район, дер. Аю) и т. д.

Ойконимические термины *станция* (широкое понятие) и *разъезд* (более узкое понятие) в значении «населенный пункт, находящийся на железной дороге для остановки поездов», заимствованные из русского языка, в татарском общенародном разговорном языке приняли форму *станса* и *разйыз* (в литературном языке *станция*, *разъезд*), например: Албаба стансасы, Чүриле стансасы, Гөбенә стансасы; Иштуган разйызы, Лаччи (Лаци) разйызы и т. д.

Таким образом, в истории татарского языка имеется довольно много ойконимических терминов, используемых для обозначения понятий «город» и «село». В тот или иной период его развития одни термины по разным историко-лингвистическим причинам последовательно заменялись другими, но большинство сохранялось. Тщательное исследование местных топонимов и ойконимических терминов, участвовавших в их образовании, является довольно существенным вкладом в изучение исторической лексики, географической терминологии и топонимии татарского языка, а также истории, этнографии татарского народа и его этногенеза.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. М.: Наука, 1978.

² Древнетюркский словарь. Л., 1969.

³ Абрамов Н. Город Тюмень//Тсбол. губерн. ведомости. 1858. № 50.

⁴ Миллер Г. Ф. История Сибири. М.; Л., 1937. Т. 1.

⁵ Материалы по истории русской картографии. Киев, 1899, 1900.

⁶ Булатов А. Б. Топонимы и этнонимы Волго-Камья у Ибн-Фадлана, Идриси, на карте Каталонского атласа Фра Мауро и на картах XVI—XVII вв.//В кн.: Ономастика Поволжья. Ульяновск, 1969.

⁷ Севортыан Э. В. Этимологический словарь тюркских языков: (Общетюркские и межтюркские основы на букву «Б»). М., 1978.

⁸ Visck C. D. A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European Languages: A contribution to the history of ideas. Chicago; London, 1971.

⁹ Корнилов Г. Е. Евразийские лексические параллели. Чебоксары, 1973.

¹⁰ Sinor D. The origin of Turkish BAL/A: «Tow»//Central Asiatic J. 1981. Vol. 25.

¹¹ Памятная книга Казанской губернии на 1863 год. Казань, 1862.

¹² Любопытно отметить, что столицей средневекового государства Дешт и Кыпчака был легендарный город Чардак (от *чардак* 'укрепленное, наиболее защищенное место, крепость, город, столица'). Ср.: Чердаклы—город в Ульяновской области.

¹³ Мурзаев Э. М. Топонимика Синьцзяна//В кн.: Географические названия. М., 1962.

¹⁴ Татар теленең анлатмалы сүзлеге. Казан, 1979. 2 т.

¹⁵ Татар теленең анлатмалы сүзлеге. Казан, 1981. 3 т.

¹⁶ Золотницкий Н. И. Корневой чувашско-русский словарь. Казань, 1875.

¹⁷ Марийско-русский словарь. М., 1956.

¹⁸ Магомедов М. Г. Образование Хазарского каганата (по материалам археологических исследований и письменным данным). М., 1983.

¹⁹ Татарстан АССР тарихы. Казан, 1970.

²⁰ Чернышев Е. И. Селения Казанского ханства: (по писцовым книгам)//В кн.: Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья. Казань, 1971.

²¹ Этимология. 1968. М., 1971.

²² Абаев В. И. Этимологические заметки//Тр./Ин-т языкознания АН СССР. М., 1956.

²³ Молчанова О. Т. Топонимический словарь Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1979.

²⁴ Ср.: монг. *хото* 'город', *хотон* 'несколько домов, объединенных в одно хозяйство', якут. *хотон* 'помещение для скота, постройка для скота', согд.→*кат* 'дом', в языках Средней Азии *кент*, *канд* 'город, крепость', перс. *канд*: 1) город; 2) крепость; 3) цитадель.

²⁵ Ср. также: Бай-Бүре-Туу — название горы в Горном Алтае, Баргат — гора в Абзелиловском районе БАССР (дер. Муракаево), Бөрбаш ~ Борбаш—татарская деревня Балтасинского района ТАССР; Бөре жылгасы, Бөреле жылгасы, Бөрә жылгасы — названия речек Заказанья ТАССР [26. С. 39], т. е. речки со складчатыми берегами.

²⁶ Гарипова Ф. Г. Татарстан гидронимнары сүзлеге. Казан, 1984.

²⁷ Николов В. А. Краткий топонимический словарь. М., 1966.

²⁸ Матвеев А. К. Географические названия Урала. Свердловск, 1980.

²⁹ Мурзаев Э. М. Средняя Азия. М., 1957.

³⁰ Л. Будагов обращает внимание на то, что в старотатарском языке слово *курган* употреблялось в значении «укрепление, крепость» [31. С. 76]. Ср.: тур., кыпч. *кигуап*, каз., чагат. *когуап*, кирг. *когуоп* 'укрепление', 'крепость'. Мы считаем, что генезис ойконимического термина *курган* сводится к глаголу *коргану* 'защищаться'.

- ³¹ Будагов Л. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. Спб., 1871. Т. 2.
- ³² Кашгарий М. Девону луготит турк. Тошкент, 1960. Т. 1.
- ³³ Рахматов Т. Этимология топонима «Самарканд»//Сов. тюркология. 1973. № 4.
- ³⁴ Заимствованное старотатарским литературным языком из арабского языка *карья* 'село', 'деревня' не оставило никакого следа в татарской топонимии.
- ³⁵ Гарәпчә-татарча-русча алынмалар сүзлеге Казан, 1965.
- ³⁶ Борханова Н. Б. Татар телендә авыл төзелешенә караган лексик-семантик төркемнәр//В кн.: Исследования по диалектологии и истории татарского языка. Казань, 1982.
- ³⁷ Справочник личных имен народов РСФСР. М., 1979.
- ³⁸ Вахидов С. Ярлык хана Сахиб-Гирея//Вестн. науч. о-ва татароведения. 1925. № 1—2.
- ³⁹ Хисаметдин бине Шарәфетдин. Тәварихы Болгария. Казан, 1870.
- ⁴⁰ Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Спб., 1905. Т. 3, ч. 1.
- ⁴¹ Насыри К. Сайланма әсәрләр. Казан, 1975. 2 т.
- ⁴² Субаева Р. Х. К вопросу тюрко-татарской топонимики современной ТАССР// В кн.: Проблемы тюркологии и истории востоковедения. Казань: КГУ, 1964.
- ⁴³ Келлен П. И. Хронологический указатель материалов для истории инородцев. Спб., 1861.
- ⁴⁴ Артемьев. — Казанская губерния: Список населенных мест по сведениям 1859 года. Спб., 1866.
- ⁴⁵ Сафаргалиев М. Г. К истории татарского населения Мордовской АССР: (о мишарах)//Тр./НИИ лит., ист. и экон. при Совмине Мордовской АССР. Саранск, 1963. Вып. 24.
- ⁴⁶ Татар телендә диалектологик сүзлеге. Казан, 1969.
- ⁴⁷ Шәкур Р. Ерзең хәтер китабы. ӨФӨ, 1984.

М. Р. ФЕДОТОВ

РОЛЬ ЧУВАШСКИХ СЛОВ В ОБРАЗОВАНИИ ОЙКОНИМОВ МАРИЙСКОЙ АССР

В марийском языке имеется значительное количество тюркизмов. Наибольший процент составляют слова чувашского происхождения. Еще Н. И. Ашмарин обратил на это внимание и писал, что «язык горных и луговых черемис (=мари.—М. Ф.) включает в себе огромное количество слов, заимствованных из чувашского языка» [1. С. 8—18].

На основе реестра чувашских слов В. П. Вишневого, Н. И. Золотницкого, Н. И. Ашмарина, а также некоторых венгерских и финских языковедов М. Ряснен создал капитальный труд, посвященный чувашским заимствованиям в черемисском языке [2] и положивший начало исследованиям, ведущимся в автономных советских республиках Поволжья и в Перми. Чувашские слова, относящиеся к различным лексическим пластам и зарегистрированные во всех диалектах и говорах марийского языка, пустили глубокие корни в виде производных единиц. Из этого следует, что между чувашами и мари еще в отдаленную эпоху установились тесные, интенсивные и продолжительные контакты.

Последующее изложение ограничивается рассмотрением топокомпонентов чувашского происхождения, издавна существующих в составе названий многочисленных населенных пунктов на территории современной Марийской АССР [3. С. 122—189].

Ял. В 14 районах (за исключением Заводского и Ленинского г. Йошкар-Олы) многие названия сел и деревень оформлены с помощью чувашского топокомпонента *ял* (= *йал*) или *йял*—горно-марийская форма, отражающая междиалектную особенность: марЛ. *a* ~ марГ. *ä*: *Шындыйял* (Горно-марийский р-н)—дер. по р. *Шындыр* (русское название *Сундырь*); *Йылыял* (в составе Вессир *Йылыял*)—Заовражные Юльяль (Горно-марийский р-н), аналогичное лугово-марийское название *Юльял*—с. Сидельниково (Звениговский р-н)—оба от *Йыл* ~ *Юл* 'Волга'+*ял*. ср.: чуваш. *Атӓльял* (<*Атӓл* 'Волга'+*ял*)—*Адыльял* (Чебоксарский р-н); *Торъял*—название одноименного районного центра и многие другие. По нашим подсчетам, имеется более ста названий, вторым компонентом которых является аффиксатив *-ял/-йял*.

Чуваш. *ял* 'селение, деревня, село; общество' восходит к древнетюркскому *el/äl* (*e-/ä-*>чуваш. *-a-* с протезой *й-*) со значениями 'народ; племенной союз; государство; административная единица'; тур. *el*, азерб. *el* 'общество, народ; чужой, посторонний человек; страна, край, провинция'; тат. *ил* (*-l/-ä*>тат. *и*) 'страна; государство; общество; община'.

Что касается мар. эл 'страна' (*марий эл* 'край (страна) марийский'), то оно, скорее всего, старотюркского происхождения [4. С. 25]. Точно так же обстоит дело с чувашским ойконимом *Элӗк* (районный центр *Аликово*), что соответствует древнетюркскому *elig* 'правитель, государь'. Чуваш. *Элӗк* могло возникнуть в связи с местом пребывания какого-то золотоордынского наместника. В чувашских говорах зарегистрировано, кроме того, слово *ил* со значением 'народ'—с пометой *Хурамал* [5. Т. 3. С. 102], но таких названий лишь несколько: в Козловском, Цивильском и Ибресинском районах Чувашской АССР. Как бы часто они не встречались, — все это отголоски золотоордынского периода, т. е. заимствования, не подвергавшиеся «переработке».

Можно, на наш взгляд, заключить, что чуваш. апеллатив *ял* в готовом виде со значением 'деревня, село' был привнесен в район левого бережья Волги переселенцами — мари с правого берега Волги. Что касается горно-марийского апеллатива *йӓл*, то его значение отражает более раннее тюркское состояние (ср. тур. *el* и его значения), иначе говоря, современные горно-марийцы *йӓл* воспринимают в значении 'прочие, посторонние люди; люди, общество': *йӓл шотеш* 'на чужой счет' (=чуваш. *ял шуӗпе*), *солайӓл* 'сельское общество, сельчане, люди' (в этой изафетной конструкции первый ее элемент *сола* выступает в качестве определения ко второму ее члену *-йӓл* со значением 'сельское общество').

Во многих чувашских ойконимах встречается не только топоформант *ял* (= *йал*), но и *ел* (= *йел*) — в переднеязычной огласовке. В таких случаях можно полагать, что *ел* образовался в результате уподобления форманта *ял* первому компоненту в переднеязычной огласовке в названиях типа *Сӗрпӗл*—дер. Сюрбеево (Ибресинский р-н), *Сӗрпӗл*—дер. Новое Сюрбеево (Цивильский р-н), *Тӗрӗньел* — дер. Новое Котяково (Батыревский р-н), *Ентриел* (<*Ентри елӗ*) — дер. Андреевка (Шемуршинский р-н), но при аналогичном качестве первого компонента названия второй его член может иметь заднерядную огласовку: *Ентрияль* (<*Ентри ялӗ*)—дер. Шибьлги (Канашский р-н), *Ентрияль*—дер. Бишево (Урмарский р-н), *Кӗслеяль*—дер. Ибрялы (Мариинско-Посадский р-н), *Пирӗньяль*—дер. Пиреньял (Ядринский р-н), *Теняяль* — дер. Тенеево (Янтиковский р-н) [6. С. 130, 155, 220, 247, 275]. В эту же группу входят многочисленные ойконимы с первым компонентом *сӗн* (ӗ) 'новый' и *кив* (ӗ) 'старый' в переднеязычной огласовке, тогда как второй компонент (*ял*) — в заднерядной огласовке: *Сӗньяль*, *Кивъяль* [7. С. 123, 131]. Встречаются также ойконимы, первый компонент которых имеет заднерядную, а второй — переднерядную огласовку: *Сӓръел*—дер. Ишмурзино — Суринск (Яльчикский р-н), *Сӓкамӓньел* — дер. Липово (Чебоксарский р-н), *Вӓтаел* — дер. Новое Бахтиярово (Батыревский р-н) и др. Немало названий населенных пунктов, где оба компонента сингармоничны: *Вӓтаяль* (<*Вӓта ял-ӗ*) — дер. Бахтиярово (Янтиковский р-н), *Кайӓкӓяль* — дер. Каликово (Канашский р-н), *Каранӓяль* — дер. Караньялы (Мариинско-Посадский р-н), *Сарӓяль* — дер. Сареево (Ядринский р-н) и др.

Если учесть консервативный характер топонимов вообще и массовый — топоформантов *-ял* и *-ел* на всех территориях обитания чувашей, то можно предположить, что оба эти варианта существуют давно, и сделать вывод, что апеллатив *ял* 'деревня, село; общество' образовался из предшествующей ему формы *ел* (= *йел*), которая сохранилась также в горно-марийских говорах.

Сола. Самым распространенным топоформантом марийских ойконимов является *-сола*, восходящий к самостоятельному апеллативу *сола*

со значением 'село, деревня'. Он выступает, как правило, в позиции второго элемента сложного образования: *Митриссала* (<Митри — имя собств.)—дер. Митряево (Горно-марийский р-н), *Кожласола* (<кожла 'ельник')—дер. Кожласола (Звениговский р-н), *Лаврасола* (<лавра 'грязь')—дер. Лавровка (Медведевский р-н), *Ивансола* (<Иван—имя собств.)—дер. Ивановка (Оршанский р-н), *Нурсола* (<нур 'поле') — дер. Нурсола (Сернурский р-н) и т. д. По нашим подсчетам, топоформант *-сола* присутствует в 306 названиях, но чаще всего он встречается на территории Горно-марийского района (99 — из общего числа населенных пунктов 243), далее в Моркинском (34— из общего числа названий 137), Новоторьяском (32), Медведевском (25), Советском (25), Сернурском (20), Волжском (17) районах. Всего один раз он обнаружен в Мари-Туркском районе: *Озансола* — дер. Азянково.

Происхождение апеллятива *сола* неясно. К тому же он имеет помету Г., т. е. его употребление ограничено ареалом горно-марийских говоров и диалектов, хотя в «Словаре северо-западного наречия марийского языка» [8. С. 195] представлена также акающая форма — *сала*.

Чуваш. *сала* как самостоятельное слово получило распространение повсеместно и зарегистрировано во всех существующих словарях: *сала вырус* 'крестьянин' [9. С. 17]. Речь идет, конечно, о жителе русского селения, по-чувашски *сала вырăс-ĕ* (-ĕ — аффикс принадлежности); *салá* 'село' [10. С. 141]; *сала* 'село': *олбут салы* 'господская деревня' [11. С. 56]. Здесь аффикс принадлежности передан не совсем точно, вместо *-ы* в современной орфографии ставится *-и*: *олбут сали*. В словаре Паасонена *сала* 'село; деревня'; казан. (Балинт) *сала* 'деревня' (<рус. село) [12. С. 113]. У Н. И. Ашмарина читаем: «Сала село, селение, в особенности русское селение... [Слово „сала” известно в древнетурецких памятниках в значении города, крепости, поселения и т. п. В чуваш. говорах, в которых слово „сала” выходит из употребления, оно часто заменяется словом „хула”...]». Приводятся названия ряда русских селений, в чувашских названиях которых в качестве второго компонента ставится слово *сала*: с. Большая Цыльна б. Симб. у (Сĕнĕ сала); с. Ишеевка б. Симб. у. (Хурăн сала) и др. Пăртас сали, назв. рус. с. Буртасы [5. Т. 11. С. 24].

Что касается других тюркских языков, то о них (казанско-татарском и караимском) в словаре Радлова сказано: «*сала* [каз. кар. Т. из русского села] 'деревня, село': каз. *сала калкы* 'деревенские жители', *сала агайсы* 'деревенский, необразованный мужик' [13. Т. 4. С. 349—350]. Таким образом, чуваш. *сала*, в противоположность горно-марийскому *сола* (-о-), по своей огласовке совпадает с казанско-татарскими и караимскими формами.

Ойконимам, образованным от апеллятива *сала*, посвящена статья В. А. Бушакова [14]. Приводимые автором примеры, в которых апеллятив *сала* фигурирует в качестве второго компонента, структурно совпадают с чувашскими, марийскими и татарскими названиями: *Бияс-Сала* ~ *Бия-Сала* ~ *Биясалы*, *Ени-Сала*, *Ходжа-Сала*, *Эмир-Сала*, *Ени-Сала*, *Улу-Сала* и др. Тут же приводятся названия с формантом *-сала*, хронологически засвидетельствованные тарханскими ярлыками первых крымских ханов: *Янги-Сала... Богасала* (под 1530 г.). Ареал ойконимов с топоформантом *-сала*, как пишет автор, ограничен горным Крымом, «население которого исповедовало христианство и говорило на греческом языке», но после захвата Турцией всего Крыма стало принимать ислам и переходить на турецкий язык.

В. А. Бушаков считает вероятным, что «термином *сала* турки и татары в Крыму называли деревни христиан, потомки которых в

1778—1779 годах переселились в Северное Приазовье, куда принесли с собой названия покинутых в Крыму селений: *Большой Янисоль*, *Малый Янисоль* и *Новоянисоль* в Донецкой области, *Большие Салы* и *Султан-Салы* в Ростовской области» [14. С. 29].

В статье приводится мнение О. Н. Трубачева, который слово *сала* возводит к индоевропейскому *sal 'течь, текущая вода' и считает, что компонент *сала* едва ли объясним из крымско-татарского или турецкого языка [15].

Как полагал Н. Марр, марийская окающая форма *сола* отражает «природно ожидаемую» форму чувашского языка [см. 16. С. 32], тогда как его акающий апеллятив *сала* возник в результате воздействия окающих элементов языка какого-то племенного образования, находившегося в сфере влияния чувашского языка.

Считать, что горно-марийское *сола* восходит к русской форме *село*, нет, по нашему мнению, веских оснований по той простой причине, что русский апеллятив в качестве заимствования на лугово-марийской почве приобрел форму *селá* (с ударением на втором открытом слоге). Слово это успело отразиться, например, в ойкониме *Стар-села* (<старое село) — дер. Верх-Ушут (Куженерский р-н) при наличии в одном и том же Тумьюмучашском сельсовете нескольких населенных пунктов с топоформантом *-сола*: *Лопсола Нурсола*, *Пекесола*, *Пондашсола* [3. С. 144—145].

Аргументом, подтверждающим, что *сола* не марийского происхождения, может служить отсутствие его в качестве самостоятельного слова как в других наречиях марийского языка, так и в остальных финно-угорских языках. Однако наличие топоформанта *сола* во множестве ойконимов луговых мари можно объяснить тем, что он в готовом виде был взят переселенцами мари с правого берега Волги, но переход *a > o* мог совершиться под влиянием самого чувашского языка, которому свойствен этот перебой гласных. Как ни странно, в чувашском сохранилась акающая тюркская форма. Однако это объяснимо, если мы предположим, что чуваш. *сала* восходит к русскому *село*, имеющему не только общеславянский, но и, возможно, индоевропейский характер [17. С. 272—273; 18. Т. 3. С. 596].

Мы имеем в виду то обстоятельство, что действие закона звукоперехода *e > ä > a* в чувашском языке было последовательным (регулярным) и продолжительным. Ему подчиняются не только древнетюркские слова (*Edil >* чуваш. *Атáл*, однако тат. *Идел*, *är(-er)* 'муж(чина)' > чуваш. *ар*, тат. *ир*, *bär(-ber-)* 'давать' > чуваш. *пар-*, тат. *бир-* и т. д.), но и обсуждаемое русское *село* > чуваш. *сала*, *неветмет* > чуваш. *парамат* 'рыболовная сеть', *Герасим* > чуваш. *Карачáм/Караçáм*, *Карук* и др. [19. Т. 1. С. 88].

Заслуживает внимания и точка зрения В. В. Кузнецова, который полагает, что топоформант *-сола*, «по всей вероятности, марийцы заимствовали из владими́ро-поволжских русских говоров, где в предупредном положении перед твердыми согласными произносился 'о (н'осú, в'ола, с'оло)» [3. Вып. 1. С. 31].

Приняв это предположение, нетрудно было бы объяснить чувашскую акающую форму *сала*, поскольку процесс перехода *o > a* в русских заимствованиях в чувашском языке зафиксирован более 200 лет назад (1769): *рождество* > чуваш. *раштав*, *солод* > чуваш. *салат*. Данный переход наблюдается в речи чувашей старшего поколения и в настоящее время: *комедия* > чуваш. *камит*, *колхоз* > чуваш. *калхуз*, *торт* > чуваш. *тарт* и т. д. [19. Т. 1. С. 95—96].

Сир. Топоформант *-сир* распространен главным образом на терри-

тории Горно-марийского района: *Алгасир* — дер. Алгаскино, *Ермаксир* — дер. Ермаково, *Яктарсир* — дер. Красная Горка и т. д. Всего, по нашим подсчетам, встречается 21 раз. Одно название с формантом *-сир* зарегистрировано в Медведевском районе: *Пиясир* — с. Нурма.

Обсуждаемый топоформант *-сир* восходит к чувашскому апеллятиву *сыр*, *сир* 'обрыв, край оврага' (5. 12. С 109—110), *сыр-ан* 'обрыв, яр, откос, берег' > марГ. *сир*, марЛ. *сер* 'берег' при др.-тюрк. *jar* 'овраг' (> рус. *яр*), тат., башк. *яр* 'берег', якут. *сыыр* 'горка, возвышенность': *хара сыыр* 'откос'.

Олык. Топоформант *-олык/-алык* (горно-марийский вариант) восходит к чувашскому апеллятиву *улях/олях* 'луг' (< *утă-лях/отă-лах* ~ др.-тюрк. *otluç* 'имеющий траву' < *ot* 'травя, зелень' ~ чуваш. *утă/отă* 'сено'). Указанный топоформант встречается как компонент названий марийских населенных пунктов: *Кужалык* (< р. *Куж*, т. е. луг по реке *Кужа* — дер. Кужолок (Килемарский р-н), *Йогоролык* (*Йогор* — имя собств.) — дер. Обриноно (Сернурский р-н). В качестве первого компонента: *Олыкъял* — дер. Большой Олыкъял (Волжский р-н), *Алыктыр* (< 'край луга') — дер. Саратеево (Горно-марийский р-н), *Олыктър* (< 'край луга') — дер. Мари-Луговая (Звениговский р-н), *Олыкъял* — дер. Олыкъял (Моркинский р-н).

Сурт. Топоформант *-сурт*, восходящий непосредственно к чувашскому слову *сурт/сорт* 'дом, жилище' (~ др.-тюрк. *juçt* 'дом, владение, местожительство, земля, страна'), встречается редко: *У-сурт* (< *у* 'новый' + *сурт* 'дом; двор; хозяйство') — дер. Новый Юрт (Моркинский р-н), *Тосурт* — дер. Нижнее Махматово (Новоторьяльский р-н), *У-сурт Варангыж* — дер. Токпердино (Моркинский р-н).

Кўвар. В качестве топоформанта может выступать мар. *кўвар*, марГ. *кывер*, чувашское происхождение которого не вызывает сомнений: чуваш. *кёпер* при тат., башк. *күпер* 'мост': *Кугу Торешкўвар* — дер. Большой Торешкюбар, *Изи Торешкўвар* — дер. Средний Торешкюбар (Сернурский р-н). Мар. *кўвар* зарегистрирован также в качестве первого компонента: *Кўварвуй* — дер. Южно-Толешево (Медведевский р-н).

Приведем названия населенных пунктов, где первым компонентом являются топоосновы, чувашское происхождение которых, на наш взгляд, неоспоримо:

Шор- (< чуваш. *шур/шор* 'болото, болотистая земля', *шурлях/шорлях* ~ тат. *сазлык*, башк. *һазлык* 'болото, болотистое, топкое место' (< *шор/шур* ~ *саз* 'болото'): *Шорсола* — дер. Шорсола (Куженерский р-н).

Пурса (< чуваш. *пърса* ~ др.-тюрк. *bugsaç*, тат. *борчак*, башк. *борсак* 'горох'): *Пурсанур* (< 'гороховое поле') — дер. Кузнецово (Медведевский р-н).

Ага- (< чуваш. *ака* 'пашня; сев' < *ак* ~ др.-тюрк. *ek* 'сеять, сыпать', тат. *игу*, башк. *игеу* 'обрабатывать, возделывать землю'): *Аганур* (< 'пашня' + 'поле') — дер. Аганур (Куженерский р-н).

Сот- (< чуваш. *сут(ă)/сотă* ~ тат. *якты*, башк. *якты* 'светлый, яркий, ясный'; в функции наречия: 'светло, ярко'): *Сотнур* (< 'светлая поляна') — дер. Сотнур (Волжский р-н).

Поян- (< чуваш. *пюян/поян* < *пуй-/пой-* 'богатеть, разбогатеть' ~ др.-тюрк. *baç* 'богатый': *baç bol* 'разбогатеть'): *Поянсола* — дер. Поянсола (Звениговский р-н).

Отар- (< чуваш. *утар/отар* 'пчельник', 'пасека'; 'хутор' < *утă/от* 'сено; трава' ~ др.-тюрк. *ot* 'травя, зелень'; тат. *утар* 'загон, хутор, усадь-

ба, именование', башк. *утар* 'хутор'): *Марий Отар*—дер. Мари-Отары, *Чуваш Отар* — дер. Чуваш-Отары (Звениговский р-н).

Чек-: *Чекмарий* — дер. Чекмари (Новотурьяльский р-н). А. Н. Ку克林 это название поясняет следующим образом: *Чекмари* — прозвище групповое от апеллятива *чекмарь* — деревянный молоток, колотушка [З. С. 167]. Думается, что здесь представлен мар. апеллятив *чек*, марГ. *чик* 'граница, черта, линия', восходящий либо к чувашскому *чик(ё)*, либо к татарскому *чик* 'граница, пограничный', ср.: чуваш. *Чикме* = марГ. *Цикмә* или *Цыкмә* 'г. Козмодемьянск', который в XVI в. для чувашей и горных мари был пограничным городом, но это название никак не связано с «топким местом», как это думает Ф. И. Гордеев [20. С. 191]. Следовательно, ойконим *Чекмари* в своем изначальном виде обозначал тех мари, которые жили на границе или вдоль границы, отделявшей их от соседних народов.

Пия-: *Пиясир* — с. Нурма (Медведевский р-н). А. Н. Ку克林, исходя из значений обоих компонентов, так объясняет это название: *берег пруда* [З. Вып. 1. С. 152]. Однако он не указывает, из какого языка вошли эти компоненты. Мы считаем, что оба компонента — тюркского происхождения: марГ. *пйә* 'пруд' < чуваш. *пёве* > сундыр. наречие *пйе* 'пруд, запруда; плотина': чуваш. *пёвеле* —> марГ. *пйәләш* 'прудить', марЛ. *пйя* < тат. *бея* 'плотина'. Чувашские и татарские формы восходят к древнетюркскому *böy-* 'запруживать, перекрывать'.

Нөрөп-: *Нөрөпсөла* — дер. Нөрөпсөла (Моркинский р-н), в объяснении А. Н. Куклиной — *Колодезная* [З. Вып. 1. С. 158]. Мар. *нөрөп*, думается, восходит к чуваш. *нйхрөп* 'погреб', последнее, в свою очередь, родственно с тат. *нәүрәп*, башк. *мәгрәп* 'погреб'. Ближе всего к чуваш. *нйхрөп* — марГ. *мйгөп*.

О переселении мари с правого гористого берега на левый (низовой или луговой) берег Волги свидетельствуют и другие топонимы. В этом отношении очень показателен ойконим *Кукморь/Кукмарь/Кукмар*. Расшифровывая варианты названия одного и того же объекта, И. С. Галкин приводит ряд аналогичных названий в Марийской АССР (*Кукмарь. Пижан Кукмор, Русский Кукмор, Ноли Кукмарь*), Татарской АССР (пос. *Кукмор* и дер. *Кукмор*), а также в Кировской области (*Кукмор, Кукмары, Кукмур*). При этом он установил, что в архивных документах за 1699 г. отмечена «волость Крукнур» (вместо *Кукнур*), что говорит о возможности превращения *курык* 'гора, горный' > *крук* > *кук*. Таким образом, *Кукмарь* (*Кукмарий* по-марийски) — это 'горные люди'. Автор делает вывод, что «переселенцами этих населенных пунктов были марийцы с правого берега р. Волги» [21. С. 49—50].

Тезис о миграции марийцев с правобережья на левобережье Волги подтверждается также наличием топоформанта *-мар(а)/-мер(е)*, восходящего, по всей вероятности, к ославяненной форме этнонима *меря* > *мари* в названиях населенных пунктов северных районов Чувашской АССР: *Анатри Кушмара* — дер. Сатышево, *Тури Кушмара* — дер. Кужмары (Марийско-Посадский р-н), *Кутемер* — дер. Кудемеры (Козловский р-н), *Вярмар* — пос. Урмары, *Кивё Вярмар* — дер. Старые Урмары (Урмарский р-н), *Тёмер* — с. Новое Тинчурино (Яльчикский р-н), *Тёмер* — дер. Тюмерево (Янтиковский р-н), *Сёсмер* — дер. Сесмеры (Моргаушский р-н), *Сёсмер* — дер. Сесмеры (Красноармейский р-н).

Топоформант *-мар(а)/-мер(е)* имеет огромный арсенал. Кроме территории самой Марийской АССР, он встречается там, где теперь проживает в основном русское население, — в Горьковской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской, Московской областях [22. С. 129].

В решение вопроса о былом переселении марийцев на левый берег определенную ясность вносит этноним *çармăç/çармăс* 'черемис', участвовавший в образовании ряда названий населенных пунктов на территории современной Чувашской АССР: *Çармăскасси* — дер. Сярмыськасы (Моргаушский р-н), *Туҫи Çармăс* — дер. Тузи-Сярмус, *Хурăнсур Çармăс* — дер. Хорнзор (Вурнарский р-н), *Ирҫе Çармăс* — с. Малые Кармалы, *Чăваш Çармăс* — дер. Кубня (Ибресинский р-н). Интересны последние два названия. Там, где живут чувашаи, населенный пункт называется *Чăваш Çармăс* (досл. 'чувашский черемис'), а где эрзя — *Ирҫе Çармăс* (досл. 'эрзянский черемис').

Следует подчеркнуть, что на территории Марийской АССР нет и, пожалуй, никогда не было ойконимов со словом *çармăс*, поскольку последнее является этнонимом, данным марийцам чувашами. Его родство следует искать в русском языке. В памятнике русской литературы XIII в. — «Слове о погибели Русской земли», зафиксирована форма *чермисъ* («от моря до Болгарь, от Болгарь до Буртась, от Буртась до Чермисъ, от Чермисъ до Морьдви, то все покорено было богом хрестияньскому языку поганьския страны») [23. С. 276]. Она, по всей вероятности, является отражением болгарской формы на *-e-*, превратившейся на почве чувашского языка в этноним *çармăс*. В упомянутом источнике этноним *чермисъ* представлен и во множественном числе в виде *черемиси* («буртаси, черемиси, вьда и морьдва бортъничаху на князя великого Володимера») [24. С. 117].

На основании рассмотренного ойконимического материала, распространенного как на правом, так и на левом берегу Волги, с уверенностью можно судить о продолжительном проживании на территории северных районов современной Чувашии более или менее компактных марийских племен, которые в силу определенных демографических причин или покинули правобережные районы Волги или же постепенно растворились в среде пришлых болгарских племен, оставив память о себе в виде географических названий нетюркского происхождения.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. *Ашмарин Н. И.* Материалы для исследования чувашского языка. Казань, 1898. Ч. 1—2.
2. *Räsänen Martti.* Die tschuwassischen Lehnwörter im Tscheremissischen. Helsinki, 1920.
3. Вопросы марийской ономастики. Йошкар-Ола, 1978—1985. Вып. 1—5.
4. *Räsänen Martti.* Die tatarischen Lehnwörter im Tscheremissischen. Helsinki, 1923.
5. *Ашмарин Н. И.* Словарь чувашского языка. Казань; Чебоксары, 1928—1950. Т. 1—17.
6. *Нестеров В. А.* Населенные пункты Чувашской АССР. 1917—1981 годы. Чебоксары, 1981.
7. Чувашская АССР: Административно-территориальное деление на 1 января 1968 года. Чебоксары, 1968.
8. Словарь северо-западного наречия марийского языка. Йошкар-Ола, 1971.
9. Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского языка [СПб., 1769].
10. Начертание правил чувашского языка и словарь, составленные для духовных училищ Казанской епархии. Казань, 1836.
11. *Золотницкий Н. И.* Корневой чувашско-русский словарь. Казань, 1875.
12. *Raasonen H.* Csuvás szójegyzék. Budapest, 1908.
13. *Радлов В. В.* Опыт словаря тюркских наречий. СПб., 1893—1911. Т. 1—4.
14. *Бушаков В. А.* Термины, обозначающие селения и крепости в топонимике Крыма//Сов. тюркология. 1985. № 2.
15. *Трубачев О. Н.* Таврские и синдо-меотские этимологии//В кн.: Этимология. 1977. М., 1979.
16. *Март Н.* Чувашаи-яфетиды на Волге. Чебоксары, 1924.

-
17. Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. М., 1959. Т. 2.
 18. Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. М., 1964—1973. Т. 1—4.
 19. Федотов М. Р. Чувашский язык в семье алтайских языков. Чебоксары. 1980—1986. Т. 1—3.
 20. Происхождение марийского народа. Йошкар-Ола, 1967.
 21. Галкин И. С. Тайны марийской топонимии. Йошкар-Ола, 1985.
 22. Федотов М. Р. Заметки о финно-угорских элементах в некоторых географических названиях Чувашии//Сов. финно-угроведение. 1970. № 2.
 23. Лихачев Д. С. Прошлое—будущему: Статьи и очерки. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1985.
 24. Древняя русская литература: Хрестоматия/Сост. Н. И. Прокофьев. М.: Просвещение, 1980.
-

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Э. Р. ТЕНИШЕВ

ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ГРАММАТИК И ИСТОРИЙ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

Сравнительно-исторические исследования тюркских языков, напряженная работа по реконструкции основных звеньев пратюркского языка, которую с 50-х годов вели ученые сектора тюркских и монгольских языков Института языкознания АН СССР вместе с другими тюркологами страны, в настоящее время близки к завершению. Однако это совсем не означает, что работы в области тюркской компаративистики не будут продолжаться. Наступает пора кропотливой проверки, уточнения и детализации отдельных фрагментов или явлений тюркского языка, призванных подтвердить достоверность полученных реконструкций на более высоком уровне.

Вместе с этим назревает потребность в обращении к новой научной задаче, логически вытекающей из предыдущего исследовательского периода и энергично стимулируемой требованиями времени: выработать научные основы составления исторических грамматик и историй литературных тюркских языков, а затем, опираясь на эти общие положения, в течение двух-трех пятилетий написать истории ряда национальных языков, что отвечало бы запросам теории и практики. Составлением историй своих языков довольно много занимаются и в центре, и в республиках, и академические институты, и высшие учебные заведения, где обязателен курс истории родного языка. Вся эта работа и ее результаты имеют большое теоретическое, культурное и общественно-политическое значение. Иными словами, она выдвигается сейчас в ряд жизненно актуальных областей тюркологии. Сектор тюркских и монгольских языков Института языкознания АН СССР начиная с нынешнего пятилетия полностью включается в это важнейшее дело. Активная и целеустремленная работа по составлению историй языков и будет прямым участием тюркологов в ускорении научного и культурного прогресса народов нашей страны.

Как же обстоит дело с составлением историй отдельных тюркских языков?

Нам уже приходилось отмечать необходимость четкого различения исторической грамматики и истории литературного языка, имеющих свой особый предмет исследования [1. С. 230—232]. Так, наряду с историческими грамматиками узбекского, азербайджанского, казахского, татарского, башкирского, чувашского языков, составлены истории туркменского (М. Н. Хыдыров) и каракалпакского языков (Х. Хамидов). Один и тот же термин «история» скрадывает теоретическую

позицию составителей: не различать истории грамматической структуры языка и истории его литературной формы, сливать их вместе [2; 3]. Историков конкретных тюркских языков ожидают и другие трудности общего характера: как использовать материал письменных памятников для исторической грамматики тех языков, где памятники имеются, но в лингвистическом отношении не являются прямыми предшественниками этого языка; как быть с тенденциями к удлинению истории литературного языка (узбекский, азербайджанский языки) или, напротив, к укорочению его (киргизский язык); сюда же относится и само применение приемов исследования в том или ином случае.

В отечественном языкознании принято различать историческую грамматику и историю литературного языка.

Исследования историй отдельных тюркских языков, их общий характер и направление позволяют внести уточнение в понимание предмета исторической грамматики: историческая грамматика языка в целом, в сумме всех его страт, и историческая грамматика только одного высшего страта — литературного языка.

Вместе с этим дополнением можно выделить три типа истории одного и того же языка:

1. Историческая грамматика национального языка.
2. Историческая грамматика литературного языка.
3. История литературного языка.

Дальнейшее изложение представляет собой сжатое обоснование позиции сектора в области составления историй отдельных тюркских языков. Речь идет главным образом об обобщающих трудах, о целостном описании развития грамматического строя языка и истории его литературной формы.

1. Историческая грамматика национального языка. Ее цель показать изменения и развитие фонетико-фонологической, морфологической и синтаксической структуры языка и его лексического состава от древнейших периодов вплоть до настоящего времени. В тюркологии разыскания в области исторической грамматики начались с якутского языка. В этом отношении якутскому языку повезло: его историей занимались такие исследователи, как О. Н. Бетлингк и В. В. Радлов. О. Н. Бетлингк, описывая в своем труде «О языке якутов» [4] строй якутского языка, провел сравнение его с другими тюркскими и монгольскими языками и сделал заключение об исторических изменениях звуков и форм.

Работу О. Н. Бетлингка продолжил В. В. Радлов. Его исследования по истории якутского языка появились в целом виде в труде «Якутский язык в его отношении к другим тюркским языкам» [5]. Путем последовательного сравнения явлений фонетики, а также именного и глагольного словоизменения лексики в якутском и других тюркских языках В. В. Радлов разработал основы исторической грамматики якутского языка.

Обобщением и развитием сделанного предшествующими исследователями в области истории якутского языка явилась небольшая, но очень содержательная работа Е. И. Убрятовой «Историческая грамматика якутского языка» [6]. В книге раскрывается история отдельных фрагментов фонетики, морфологии и лексики якутского языка. Исследовательские приемы автора: внешнее и внутреннее сравнение, ареальный подход, статистика.

Основная опора всех построений исторической грамматики языка — принцип системности — стержень развития звукового и грамматического строя языка, понимаемый как взаимная зависимость элементов

языковых образований различных уровней. Модели системного анализа в изучении исторической грамматики языка могут быть различными. Одна из них — сопоставление последовательных синхронных срезов, описанных как система связанных между собой элементов: древний — пратюркское наследство; средний — зональные или групповые явления и новый — собственно национальные и специфические черты в том или ином языке.

А. А. Шахматов наглядно продемонстрировал эту модель при исследовании исторической морфологии русского языка [7]. Тот же принцип построения истории английского языка применил В. Д. Аракин [8].

При исследовании древнего периода истории языка тюркологу нет никакой необходимости самому производить утомительные праязыковые реконструкции, кроме самых необходимых. Достаточно обратиться к готовым системам. Поскольку эти системы носят динамичный характер, то историк конкретного языка может соотнести исследованное явление с поздним, средним или ранним этапом праязыка, а при необходимости спроецировать его и в алтайское состояние [9. С. 23—25; 10].

Средний период относится к сравнительно позднему времени и носит, по-видимому, зональный или групповой характер.

Известны группа огузских языков (турецкий, азербайджанский, туркменский, гагаузский), группа кыпчакских языков (караимский, карачаево-балкарский, кумыкский, крымско-татарский, татарский, башкирский, ногайский, каракалпакский, казахский, киргизский), группа карлукских языков (узбекский, уйгурский). Все эти объединения обладают рядом общих внутригрупповых признаков, которые маркируют определенный период в развитии входящих в них языков.

Возможна группировка современных тюркских языков не только по этнической (точнее, социальной) примете, но и по примете лингвистической. Можно объединить некоторые тюркские языки по *д/т*-признаку (халаджский, тувинский, тофаларский, уйгурско-урянхайский, якутский, долганский), *з*-признаку (хакасский, шорский, чулымско-тюркский, сарыг-югурский) или *р*-признаку (чувашский язык). В связи с этим возникает вопрос: какого характера эти групповые объединения языков — генетического или контактного?

Приходит время заняться исследованием характера промежуточных общностей.

Нельзя довольствоваться одной интуицией. Ждать, когда исследователи дадут ответ на поставленный вопрос, невозможно: задержится на неопределенный срок решение основной задачи — составление исторических грамматик современных языков. Дилемма, очевидно, решается так: историки конкретных языков будут создавать свои целостные построения, которые получат уточнения в дальнейшем путем специальных, более глубоких изысканий групп языков и их общегрупповых признаков.

Наконец, новый период общей истории строя языка — это регистрация и анализ тех изменений, которые характеризуют тот или иной национальный язык.

В качестве исследовательских методов могут быть использованы внешняя и внутренняя реконструкция, типологический и ареальный приемы и относительная хронология. Ввиду того, что тюркские языки имеют неглубокую письменную традицию, а некоторые из них ее не имеют совсем, главным источником для составления исторических грамматик современных тюркских языков являются их диалекты и, если есть, — данные исторической диалектологии [11. С. 25—28], род-

ственные тюркские языки, заимствования в нетюркских языках и материал пратюркских реконструкций. Письменные памятники вследствие их гетерогенности не могут быть поставлены в прямую генетическую связь с современными языками, поэтому их роль в исторических построениях в основном верификационная.

Описанному типу исторических исследований соответствуют труды Л. С. Левитской [12; 13] и М. Р. Федотова [14] по исторической грамматике чувашского языка. В них решается одна и та же задача: относительно полное описание изменений звукового и морфологического строя чувашского языка начиная с «периода общетюркской общности» (Л. С. Левитская). Методы исследования: внешняя реконструкция, сравнение парадигм, типологический и этимологический анализ и прием относительной хронологии. Источники: данные чувашской диалектологии и ареальных исследований, булгаризмы венгерского языка, эпиграфика, диалектные и фольклорные тексты, грамматики и словари.

На тех же основаниях строятся разыскания Б. П. Садыхова по исторической грамматике азербайджанского языка [15] и работа А. И. Азнабаева и В. Ш. Псянчина по исторической грамматике башкирского языка [16].

Удобная на первый взгляд операционально модель «сопоставления синхронных срезов» подвергается критике. Недостаток этого приема в том, что остается вне исследования само движение грамматического строя языка. Поэтому данный способ — всего лишь один из возможных предварительных опытов построения исторической грамматики языка.

Конструктивный путь предложен германистами Института языкознания АН СССР применительно к истории немецкого и английского языков. Исследователи исторической грамматики немецкого языка считают, что основной их принцип — это системно-функциональный подход к изучению грамматических процессов в развитии языка. Единицы исследования — оппозиция, парадигма, грамматическое поле, иными словами, — малые системы различного объема. Оппозиции входят в парадигму, охватывающую словоизменительный уровень. В грамматическое поле входят единицы разных языковых уровней, объединяемых общим грамматическим значением.

Системно-функциональное направление в исторической грамматике предполагает изучение процессов в их взаимных связях и влиянии. Судьбы отдельных грамматических категорий и соответствующих им микросистем должны быть представлены в виде непрерывного потока. Линии развития отдельных категорий и малых систем сводятся в единое целое в заключительной части исследования.

Таковы основные теоретические положения историков немецкого языка института языкознания [17].

Ценные теоретические положения и методические приемы в исследовании исторической грамматики английского языка содержатся в программной статье В. Н. Ярцевой [10]. Тюрколог — историк строя языка — должен внимательно изучить советы автора, касающиеся исторической грамматики и сравнительно-исторического языкознания, исторической грамматики и исторической диалектологии, развития различных уровней структуры языка, анализа архаизмов и инноваций в исторической грамматике, а также типологических сдвигов в строе языка, явлений вариативности как формы связи синхронии и диахронии, отношений исторической грамматики и филологии, исторической грамматики и истории языка.

Тюркологи имеют возможность идти по проторенному пути, изучая

опыт германистов и постепенно внедряя его в свою тюркологическую практику.

II. Историческая грамматика литературного языка. Цель ее — исследование процесса развития графики, фонетической и грамматической структуры литературного языка от первых памятников до современного состояния.

Целостное описание исторической грамматики литературного языка возможно в следующем порядке: 1 — донациональный период; 2 — национальный период. Оба периода имеют качественные отличия по линии нормы литературного языка: в донациональный период норма подвержена варьированию, что приводит к системе региональных вариантов литературного языка, в национальный период норма постепенно стабилизируется и, при всей своей исторической изменчивости, стремится стать единой для общества.

Модель описания включает временные и пространственные параметры: графическую, фонетическую и грамматическую структуру существующих региональных вариантов, сформировавшихся в разные периоды времени. Затем исследуются изменения строя национального языка на различных этапах его развития.

В заключение учитывается взаимодействие структур литературных языков двух периодов: роль и вклад вариантов литературного языка донационального периода в формирование литературного языка национального периода, влияние престижных традиций, постепенная демократизация языка и упрочение единой нормы. Приемами исторического анализа могут быть реконструкции (внешняя или внутренняя), учет типологических и ареальных моментов и относительная хронология.

Основной источник: материал литературных произведений различных эпох — независимо от жанров и стиля, данные тюркских языков и диалектов.

Следует учесть опыт целостного и систематического изложения истории литературных форм (на материале мордовских языков), содержащийся в книге Б. А. Серебренникова [18]: детализированные изменения форм показаны по частям речи и грамматическим категориям, в едином потоке, без деления на периоды.

Существующие пособия по тюркским языкам представляют собой описание грамматических структур языка письменных памятников от ранних периодов до текущего столетия. А. К. Боровковым выполнен тонкий историко-филологический и лингвистический анализ языка поэзии автора XII в. Ахмада Ясеви [19. С. 229—250] и языка среднеазиатского тевсира XII—XIII вв. [20. С. 24—51; 21. С. 138—219], освещающих формирование грамматической системы современного узбекского литературного языка. Полное и углубленное исследование грамматического строя — грамматических категорий имени и глагола — староузбекского языка XVII в. по сочинению Абу-л-Гази-хана «Шаджара-и тюрк» выполнил С. Н. Иванов [22].

Полное описание фонологии, морфологии и синтаксиса языка старотурецких памятников ранней поры (XIII—XV вв.) осуществил В. Г. Гузев [23].

Фонетический состав и грамматические категории письменных памятников казахского языка, данные кыпчакской группы языков и казахских диалектов получили отражение в книге М. Т. Томанова [24].

Обстоятельное изложение материала узбекских письменных памятников в сопровождении диалектных данных в пределах морфологиче

ских и синтаксических категорий узбекского языка является содержанием книги Г. Абдурахманова и Ш. Шукурова [25].

Книга Х. Мирзазаде [26] посвящена показу частей речи и морфологических категорий в их отражении в письменных памятниках азербайджанского языка и в некоторых случаях в сопоставлении с азербайджанскими диалектами.

Синхронное описание структуры простого и сложного предложения по «Бабур-наме» с регистрацией древнетюркских конструкций и неологизмов из устной речи составило содержание книги Х. Назаровой [27]. Фонетическая, морфологическая структура и словообразование в языке каракалпакских памятников XIX—нач. XX в. составили содержание книги Х. Хамидова [28]. Названный труд отражает лишь состояние фонетики и грамматических категорий форм в тот или иной период, ему не хватает демонстрации самих изменений языка, что и является предметом истории языка.

Для исторической грамматики литературного языка может быть предложен тот же системно-функциональный подход, о котором речь была выше.

III. История литературного языка. В построении исторической грамматики господствующим направлением является изучение языка письменных литературных произведений в структурно-генетическом отношении. При исследовании истории литературного языка внимание должно быть обращено не только на структурный момент, но и на функциональную сторону, т. е. общественное употребление языка.

В тюркском языкознании на функциональную сторону языка впервые обратили внимание В. В. Радлов и С. Е. Малов. Однако их выводы даже после публикации статьи С. Е. Малова о роли Навои в истории тюркских литератур и языков Средней и Центральной Азии в конце 50-х годов остались незамеченными [29].

История литературного языка в собственном смысле укоренилась в русском, славянском, западно-европейском языкознании. В данном случае уместно обратиться к большому опыту изучения истории индоевропейских литературных языков. В 1983—1986 гг. вышли в свет труды В. Н. Ярцевой по истории английского литературного языка (IX—XV вв.) [30], М. М. Гухман, Н. Н. Семенюк, Н. С. Бабенко по истории немецкого литературного языка (IX—XVIII вв.) [31; 32], С. А. Миронова по истории нидерландского литературного языка (IX—XVI вв.) [33], З. Н. Волковой по истории французского литературного языка (XII—XIV вв.) [34]. В методическом и типологическом отношениях названные исследования являются образцовыми [35].

При изучении истории литературных языков совершенно необходима опора на сравнительно-типологический материал. Иногда это единственный путь для решения той или иной альтернативы. Опираясь на фонд германских, французского, славянских языков, можно с уверенностью говорить, что тюркские литературные языки подчиняются тем же общим закономерностям сложения и развития, что и индоевропейские литературные языки. Это относится к самой сущности литературного языка, течению нормализационных процессов, жанрово-стилистического и регионального варьирования. Типологии литературных языков как особой дисциплины со своим понятийным аппаратом и терминологией, как у формальной и контентивной типологий, пока не существует. Частные наблюдения типологического характера большей частью содержатся в трудах исследователей, но появились и первые сводные работы по семьям языков [36; 37]. Настало время рассматривать процессы развития литературных языков под углом единой тео-

рии. В нашем распоряжении остается рабочий прием — обращение к данным других языков; и чем больше этих данных, тем точнее будет анализ своего материала.

Занимаясь историей литературного языка, надо всегда помнить его природу, которую определяет сумма сущностных признаков: 1) наличие обработанности, шлифовки в той или иной степени; 2) функционально-стилистическая вариативность; 3) вариативность нормы; 4) наддиалектный характер; 5) преемственность (традиция).

Введение письменности расширяет сферу применения литературного языка и становится одним из важных условий его существования. Вместе с тем язык фольклора, устной поэзии и народного права обладает признаками обработанности и наддиалектности в такой мере, что его можно отнести к ранним формам литературных языков.

История литературных языков делится на два больших периода: 1) донациональный период, 2) национальный период. Каждый из этих периодов имеет свои, более детальные подразделения. Особенно сложным представляется исследование старшего (донационального) периода в совокупности его языковых и экстралингвистических обстоятельств. Необходимо освещение исторической, культурной и языковой ситуации в каждом конкретном случае: феодальной и средневековой городской или кочевой — степной культуры, конфессиональной ситуации, роль отдельных орденов и монастырей, больших городов, исторических движений и событий, деятельности поэтов, писателей, ученых и общественных лиц.

Каждая детализация сопровождается показом языковых процессов (главным образом в лексике и синтаксисе). Должны быть раскрыты все признаки литературного языка: обработанность — каковы наборы соответствующих образных средств языка; жанрово-стилистическая вариативность — какие жанры и стили существуют, какие общественные сферы они обслуживают и как они выражаются лингвистически. Региональное варьирование допускает существование не одного, а нескольких вариантов литературного языка; например, старотатарский донациональной поры состоял из четырех-пяти вариантов, старотурецкий, староазербайджанский и старотуркменский — из двух-трех.

Наддиалектный характер устанавливается из колебания фонетических и морфологических черт языков разных классификационных групп. В числе этих языковых черт присутствует и набор более древних элементов, сохраняющихся по традиции от предшествующих престижных литературных языков.

Возникают и другие — частные вопросы, например, использование промежуточных форм литературного языка типа «чагатайского», или понимание начального — исходного периода в истории некоторых литературных языков.

Линия развития тюркских литературных языков древней и средней поры представляется такой: рунический литературный язык — древнеуйгурский литературный язык — караханидско-уйгурский литературный язык — хорезмско-тюркский литературный язык — чагатайский литературный язык — литературный язык «тюрки» (с его вариантами: староузбекским, староуйгурским, старотатарским, староказахским и т.д.).

Роль чагатайского языка состоит в том, что он отделяет общетюркский фон старых литературных языков от формирующихся литературных национальных языков. Поэтому употребление термина «чагатайский литературный язык» и правильно, и целесообразно.

Отечественные тюркологи П. М. Мелиоранский, А. Н. Самойлович, С. Е. Малов, А. К. Боровков, А. Н. Кононов занимались чагатайским языком в структурном и функциональном планах, вкладывая в это понятие вполне реальное содержание.

С 60-х годов чагатайский язык стали приравнивать к староузбекскому, а потом отказались от него совсем, считая это название монгольским династичным термином с нежелательной рефлексией вплоть до признания «родиной современных узбеков Монголии, а их предками — монголов», как писал В. В. Решетов [38. С. 123]. Условия и причины номинации всегда надо отделять от содержательной стороны называемого понятия. В содержании термина «чагатайский литературный язык» ничего однозначного нет. Думаем, что этот удобный научный термин надо реабилитировать и вновь ввести в употребление. С термином «чагатайский литературный язык» связано представление о нижней временной границе узбекского литературного языка. Недавно считалось, что это XIV век — период поэтов — предшественников Навои — либо даже XV—XVI вв. — время творчества А. Навои и поэтов его круга.

Теперь в историю узбекского литературного языка пытаются внести такие коррективы: самый древний тюркский язык (до VII в.), древний тюркский язык (VII—XI вв.), старый тюркский язык (XI—XIII вв.) и, наконец, старый узбекский литературный язык (XIV—XIX вв.) [25. С. 19]. Или: предыстория XII—XIV вв. (в основном хорезмско-тюркские литературные памятники), ранний узбекский (XV—XVI вв.) (поэты до Навои и сам Навои) [39. С. 5—7]. Или: золотоордынские (иначе — хорезмско-тюркские) памятники, предшественники Навои и Навои с современниками [40]. Но что можно сказать об узбекском литературном языке до VII в. или позже — вплоть до XIV в.? Языковая ситуация не дает ответа на этот вопрос. Образцы узбекского литературного языка появляются к XIV—XV вв. А. К. Боровков резонно относил формирование узбекского общенародного языка к XV в. [41. С. 71].

Нечто подобное происходит и в исследованиях по истории азербайджанского литературного языка. На основании принципа изменения нормы в нем выделяется два периода: I — период становления литературного языка и II — период стабилизации литературного языка. Первый период делится на два подпериода: 1) литературный язык до конца XII в. — начало формирования азербайджанского литературного языка; отмечаются памятники устного литературного языка, наличие же письменных литературных образцов подтверждается косвенными источниками; 2) литературный язык XIII—XIV вв. — время формирования языка классической азербайджанской поэзии.

Против второго подпериода возражать не приходится. Но для первого подпериода языковая ситуация не дает ясной картины употребления каких-либо образцов литературного языка. Наличие литературного языка можно подтвердить только совокупностью текстов литературных произведений. Если таких текстов нет, то нет и литературного языка.

Вследствие этого период до XIII—XIV вв. в развитии узбекского и азербайджанского языков — достояние скорее исторической грамматики, а не истории литературного языка. Общий очерк истории азербайджанского литературного языка, понимаемого как развитие нормы и стиля, принадлежит Э. М. Демирчизаде [42]. Б. Абилкасимов дал описание состояния казахского литературного языка второй половины XIX в. на основании документов религиозно-дидактического, научного, публицистического и делового содержания [43].

Язык казахской поэзии XV—XIX вв. (поэтов Бухар-жырау и Махамбета) составил содержание книги К. Омаралиева [44].

Краткую характеристику текстов и языка каракалпакских литературных произведений XVIII—XIX вв. — поэтов Ажинияза, Бердаха, народных дастанов и деловых документов дал Х. Хамидов [45].

Опыт разработки историй тюркских литературных языков невелик, созданы отдельные очерки и фрагменты, но целостного, систематического анализа истории какого-либо языка не существует, и создание его отодвигается в будущее.

В связи с составлением историй тюркских языков нельзя не коснуться и вопроса об изучении языка древне- и среднетюркских письменных памятников. Изучение языков памятников в структурном плане велось и будет вестись впредь. Это — традиционная область тюркологии, вызывающая у специалистов давний и глубокий интерес. Но ограничиваться одним лишь структурным подходом нельзя, его необходимо дополнить функциональным приемом. Применяя названный выше критерий литературного языка к языку письменных памятников, можно выделить следующие их разновидности:

- 1 — первый письменный литературный вариант — руническое койне (VII—IX вв.);
- 2 — древнеуйгурский литературный язык (VIII—XVIII вв.);
- 3 — караханидско-уйгурский литературный язык (XI—XII вв.);
- 4 — хорезмско-тюркский литературный язык (XIII—XIV вв.);
- 5 — чагатайский литературный язык (XV—XIX вв.);
- 6 — литературный язык «тюркки» с его вариантами: среднеазиатским, поволжским, арало-каспийским, кавказским (XIX—нач. XX в.);
- 7 — сельджукский литературный язык (XIII—XIV вв.);
- 8 — мамлюкско- и армяно-кыпчакский литературный язык (XIII—XVII вв.);
- 9 — поволжско-булгарский литературный язык (эпитаф. XIII—XIV вв.).

За термином «язык» в каждом случае скрывается и этнический момент, и история, и культура, и литература.

Возникает необходимость описания языка каждого периода в целом (это сделано далеко не для всех периодов), выяснения литературных и языковых связей, отношения литературных языков к языкам национальным или группам диалектов, всякого рода ареальных взаимодействий. Пример такого ряда комплексного исследования представляет собой книга Г. Ф. Благовой о тюркском склонении в ареально-историческом освещении [46].

Исследователей подстерегает здесь одна серьезная опасность, которую не смогли избежать даже опытные специалисты. Она заключается в том, что общая огузо-уйгурская языковая традиция, пронизывающая, как стержень, тюркские литературные языки всех периодов, создает соблазн механического объединения лингвистического материала одного-двух-трех периодов и описания его как единой языковой единицы. Так, язык рунических и древнеуйгурских памятников описан А. Габэн в единой системе «alttürkisch» [47], язык караханидско-уйгурских, хорезмско-тюркских, кыпчакских и чагатайских памятников в общем очень тщательно и стройно представлен как нечто целое К. Брокельманом в известной «Osttürkische Grammatik» [48]. Данные древнеуйгурских, караханидско-уйгурских и хорезмско-тюркских памятников явились основой для описания иллюзорного «восточно-туркестанского языка» А. М. Щербаком [49].

Мы должны решительно заявить, что за литературным языком каждого периода, как уже говорилось, скрывается и определенный этнос и духовная культура тюркских народов древности и средневековья, поэтому и с научной, и с человеческой точки зрения смешение разных периодов недопустимо. Отсюда следует вывод, что необходимы тюркоязычные источниковедение и текстология по каждому периоду отдельно, обеспеченные хорошо подготовленными специалистами. Но пока не будет поставлено на научную основу само собирание, описание и издание памятников письменности, отвечающее современным требованиям, не следует ожидать и появления таких научных дисциплин, как тюркские источниковедение и текстология. Образцами публикации старых тюркских текстов являются, например, издания А. Н. Кононова и А. Титце [50; 51].

В процессе занятий историей языков может возникнуть и вопрос отношения языка фольклора к письменному литературному языку. Для адыгских языков, как показывает исследование З. Ю. Кумаховой и М. А. Кумахова [52. С. 230—232], между тем и другим существует прямая связь. Эта типологическая параллель побуждает тюркологов активнее заниматься выяснением данной линии языковых отношений, проливающих свет на исторические процессы в литературных языках ранних периодов. Например, если удастся доказать литературный статус языка эпоса «Манас», то история киргизского литературного языка возрастет на большой период времени.

Нельзя не отметить, что тюркологи, занимаясь историей языков, все чаще стали прибегать к данным палеолексикологии. Такое увлечение во многом объясняется все еще слабым внедрением и методики и самих данных сравнительно-исторической лингвистики в практику тюркологов—историков языка.

Материал палеолексикологии решает лишь частичные задачи исторического процесса в языках и в этом отношении является приемом, дополнительным к компаративной методике. Наметилось еще одно увлечение среди тюркологов (лингвистов и археологов) и представителей негуманитарных наук — заниматься сравнительно-генетическими сближениями, главным образом современных тюркских языков с древнеписьменными языками Азии, Европы и Америки: шумерским, эламским, этрусским и майя. Сближения сопровождаются далеко идущими и сенсационными выводами: удлинением истории отдельных народов, удревнением и переориентацией миграционных процессов, что уже вызывает беспокойство историков [53. С. 89]. Разумеется, увлеченность необходима в любой работе, тем более творческой, но основой ее должна быть реальность, а фундаментом реализма — высокий профессиональный уровень, к которому надо всегда стремиться.

Мы далеки от мысли, что нам удалось достаточно полно осветить все вопросы составления историй конкретных тюркских языков. Здесь затронуты лишь узловые моменты, имеющие общий характер; они и вынесены на обсуждение.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ Тенишев Э. Р. О построении истории народно-разговорного и литературного языков//Тюркологические исследования. М., 1976.

² Хыдыров М. Н. Түркмен дилинің тарыхындай материаллар. Ашгабат, 1962.

³ Хамидов Х. Қарақалпақ тили тарихының очерклері. Некіс, 1974.

⁴ Böhtlingk O. Ueber die Sprache der Jakuten. Spb., 1851.

- ⁵ Radloff W. Die jakutische Sprache in ihrem Verhältnisse zu den Türksprachen. Spb., 1908.
- ⁶ Убрятова Е. И. Историческая грамматика якутского языка. Якутск, 1985.
- ⁷ Шахматов А. А. Историческая морфология русского языка. М., 1957.
- ⁸ Аракин В. Д. История английского языка: Учебное пособие для студентов педагогических институтов. М., 1985.
- ⁹ О роли сравнительно-исторических данных при составлении исторической грамматики см. [10].
- ¹⁰ Ярцева В. Н. О принципах построения исторической грамматики языка//Вопр. языкознания. 1986. № 5; № 6.
- ¹¹ О роли исторической диалектологии при составлении исторической грамматики см. [10].
- ¹² Левитская Л. С. Историческая фонетика чувашского языка: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1966.
- ¹³ Она же. Историческая морфология чувашского языка. М., 1976.
- ¹⁴ Федотов М. Р. История чувашского языка: I. Звуки. Чебоксары, 1961.
- ¹⁵ Садыгов Б. П. Азәрбајҹан дилинин тарихи грамматикасындан хусуси курс: Диалект вә шивә материаллары әсасында. Бақы, 1977.
- ¹⁶ Азнабаев А. М., Псянчин В. Ш. Историческая грамматика башкирского языка: Учебное пособие. Уфа, 1983.
- ¹⁷ Гухман М. М., Семенюк Н. Н., Бабенко Н. О. Историческая грамматика немецкого языка: Проспект. М., 1986. 47 с.
- ¹⁸ Серебренников Б. А. Историческая морфология мордовских языков. М., 1967.
- ¹⁹ Боровков А. К. Очерки истории узбекского языка. I: (Определение языка хикматов Ахмада Ясеви)//Сов. востоковедение. М.; Л., 1948. V.
- ²⁰ Он же. Очерки истории узбекского языка. II: (Опыт грамматической характеристики языка среднеазиатского «тефсира» XIV—XV вв.)//Сов. востоковедение. М.; Л., 1949. VI.
- ²¹ Он же. Очерки истории узбекского языка. III: (Лексика среднеазиатского «тефсира» XII—XIII вв.)//Учен. зап. ИВАН СССР. М.; Л. 1958. Т. 16.
- ²² Иванов С. Н. Родословное древо тюрков Абу-л-Гази-хана: Грамматический очерк: (Имя и глагол. Грамматические категории). Ташкент, 1969.
- ²³ Гузев В. Г. Староосманский язык. М., 1979.
- ²⁴ Томанов М. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы: Фонетика, морфология. Алматы, 1981.
- ²⁵ Абдурахмонов Ф., Шукуров Ш. Узбек тилининг тарихий грамматикаси: Морфология ва синтаксис. Тошкент, 1973.
- ²⁶ Мирзазадэ Г. Азәрбајҹан дилинин тарихи морфолокијасы. Бақы, 1962.
- ²⁷ Назарова Х. Особенности синтаксического строя узбекского литературного языка конца XV—начала XVI в. Ташкент, 1979.
- ²⁸ Хамидов Х. Каракалпакский язык XIX—нач. XX в. по данным письменных памятников. Ташкент, 1986.
- ²⁹ Малов С. Е. Алишер Навои в истории тюркских литератур и языков Средней и Центральной Азии//Изв. АН СССР. Отделение лит. и яз. 1947. Т. 6.
- ³⁰ Ярцева В. Н. История английского литературного языка IX—XV вв. М., 1985.
- ³¹ Гухман М. М., Семенюк Н. Н. История немецкого литературного языка IX—XV вв. М., 1983.
- ³² Гухман М. М., Семенюк Н. Н., Бабенко Н. С. История немецкого литературного языка XVI—XVIII вв. М., 1984.
- ³³ Миронов С. А. История нидерландского литературного языка (IX—XVI вв.). М., 1986.
- ³⁴ Волкова З. Н. Истоки французского литературного языка. М., 1983.
- ³⁵ Гухман М. М., Семенюк Н. Н. О некоторых принципах изучения литературных языков и их истории//Изв. АН СССР. Отд-ние лит. и яз. 1977. Т. 36, вып. 5.
- ³⁶ Типология германских литературных языков. М., 1976.
- ³⁷ Брозович Д. Славянские стандартные языки и сравнительный метод//Вопр. языкознания. 1967. № 1.
- ³⁸ Решетов В. В. Узбекский национальный язык//Вопросы формирования и развития национальных языков: Тр.//Ин-т языкознания АН СССР. М., 1960. Т. 10.
- ³⁹ Фозилов Э. Узбек адабий тилининг шакилланиш тарихи хақида//Узбек тили тарихи масалалари. Тошкент, 1977.
- ⁴⁰ Щербак А. М. Грамматика староузбекского языка. М.; Л., 1962.
- ⁴¹ Боровков А. К. Вопросы классификации узбекских говоров//Изв. АН УзССР. 1953. Вып. 5.
- ⁴² Дамирчизадэ Э. М. Азәри әдәби дили тарихи. Бақы, 1967.
- ⁴³ Эбилкасимов Б. XIX ғасырдың екінші жаратасындағы қазақ әдеби тілі. Алматы, 1976.
- ⁴⁴ Омірәлиев. К. XV—XIX ғасырлардағы қазақ поэзиясының тілі. Алматы, 1976.

- ⁴⁵ Хамидов Х. Ески қарақалпақ тилинің жазба естеликтери. Неқис, 1983.
- ⁴⁶ Благова Г. Ф. Тюркское склонение в ареально-историческом освещении: (юго-восточный регион). М., 1982.
- ⁴⁷ Gabain A., *op. cit.* Alttürkische Grammatik. Leipzig, 1974.
- ⁴⁸ Brockelmann K. Osttürkische Grammatik der islamischen Litteratursprachen Mittelasiens. Leiden, 1954.
- ⁴⁹ Щербак А. М. Грамматический очерк языка тюркских текстов X—XIII вв. из Восточного Туркестана. М.; Л., 1961.
- ⁵⁰ Кононов А. Н. Родословная туркмен: Сочинение Абу-л-Гази-хана хивинского. М.; Л., 1952.
- ⁵¹ Tietze A. Mustafā 'Ali's description of Kairo of 1599. Vien, 1975.
- ⁵² Кумахова З. Ю., Кумахов М. А. Стилистика адыгских литературных языков. М., 1979.
- ⁵³ Новосельцев А. П. Древнейшие государства на территории СССР: Некоторые итоги и задачи изучения//История СССР. 1985. № 6.
-

Г. Ф. БЛАГОВА

**СООТНОШЕНИЕ «ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА»
И «ИСТОРИЧЕСКОЙ ГРАММАТИКИ» В ИССЛЕДОВАНИИ
СРЕДНЕВЕКОВОГО ТЮРКОЯЗЫЧНОГО ПАМЯТНИКА**

В последнее время в республиках начинает осознаваться необходимость перестройки в подходах к изучению языка средневековых тюркских памятников. Уже не столь безапелляционно и прямолинейно (с позиций этноязыковой принадлежности памятников) производится определение их языкового статуса. Однако еще продолжает действовать тенденция относить все языковые факты, имеющиеся в памятнике, к истории общенародного языка. По-прежнему не вычленяется то, что именно в языке памятника обусловлено самой его спецификой как явления литературного. По-прежнему не принимается во внимание жанровая дифференциация памятников и языковые «последствия» этой дифференциации, хотя на необходимость учета этого указывал А. Н. Самойлович еще 60 лет назад.

В узбекском языкознании, например, в 1986 г. вышла в свет коллективная монография «Язык тюркских литературных памятников XIII—XIV веков: Морфология» [1]. Знаменательно уже само заглавие работы: здесь исследуется язык тюркских литературных памятников различных территорий Средней и Центральной Азии, Золотой Орды, мамлюкского Египта. Памятники эти принадлежат к различным жанрам светской и религиозной литературы. Это богословские и религиозные прозаические сочинения — «Тефсир» (среднеазиатский), «Кысасу-л-анбия» Рабгузи, «Нахджу л-фарадис». Это и произведения светской литературы — переводной и оригинальной. Переводными являются «Гулистан би-т-тюрк» Сейфа Сарайи (сочинение поэтическое с прозаическими вставками), поэтический роман «Хосрау и Ширин» Кутба. В числе сочинений оригинальной светской литературы — стихотворное назидательное сочинение «Атабату л-хакаик» Ахмада Югнаки, лирическая «Книга о любви» — «Мухаббат-наме» Хорезми, прозаическая легенда «Огуз-наме».

В соответствии с заглавием названной книги о принадлежности этих памятников истории узбекского литературного языка здесь говорится не столь прямо и категорически, как это имело место прежде; вместе с тем признается и то, что язык этих памятников сыграл важную роль в формировании литературных языков таких тюркских народов, живущих на упомянутых территориях, как туркмены, казахи, татары (Памятники XIII—XIV вв. С. 8—9).

В названной книге дается систематизированное, весьма обстоятельное и детальное описание всех морфологических категорий языка перечисленных разножанровых памятников; при этом на протяжении всей книги указывается, какая из варьирующих (параллельных) форм в каких памятниках употребляется. Однако при таком описании «по формам» столь разножанровых памятников, причем со столь отдален-

ных друг от друга территорий, специфика языка каждого из этих памятников в известной мере нивелируется, тем самым как бы подготавливается рассмотрение их в едином потоке единого литературного языка. В то же время мы не находим здесь полемики с Э. Н. Наджибом, придерживающимся мнения, что в ряде названных памятников представлены различные литературные языки [2].

Из вышеизложенного вытекает следующее: в настоящее время при описании языка памятников актуальной проблемой является соотношение дисциплин «история литературного языка» и «историческая грамматика общенародного языка». Успех историко-лингвистической работы зависит от того, как будет решена эта проблема в каждом таком исследовании.

При решении проблемы необходимо постоянно помнить, что в памятниках мы имеем дело с проявлением литературного языка. А изучение литературного языка, его истории, как известно, требует совершенно иного подхода, иной методики, нежели изучение истории общенародного языка.

Сказанное, разумеется, не исключает возможности использования материалов памятников исторической грамматикой конкретного тюркского языка и тюркских языков в целом. Однако такую возможность должно подготовить путем применения специальной методики. Напрямую же укладывать факты языка памятников в историческую грамматику общенародного языка, как показала многолетняя практика, — дело малоперспективное: получаемые в результате этого построения оказываются основанными на зыбкой почве и разваливаются при строго аргументированном критическом рассмотрении. Помочь определить, какие из варьирующих грамматических форм в языке средневекового памятника могут быть использованы для исторической грамматики конкретного тюркского языка, призваны намеченный А. Н. Самойловичем жанрово-стилистический подход к анализу чагатайского поэтического языка [3] и разработанный Э. Р. Тенишевым в ряде работ функционально-стилистический подход к лингвистическому анализу памятников [4—7].

В целях осуществления подобных подходов к историческому изучению тюркского склонения нами предложен — при опоре на принцип системности — методический прием вычленения и дистинкции базисных и периферийных микросистем склонения в каждом обследуемом памятнике; применение этого приема подразумевает сочетание его со статистическим приемом [8. С. 99—102 и след.].

Эффективность использования названного методического приема можно показать на примере дифференцированного описания тех падежей, которые имеют варьирующие (гетерогенные — инодиалектные, с одной стороны, устаревающие — с другой) показатели как в «Кутадгу билиг», так и в памятниках XIII—XIV вв. Это родительный, винительный, дательный, направительный падежи.

В языке «Кутадгу билиг» [9] родительный падеж представлен высокочастотным аффиксом *-nīŋ*, употребляющимся здесь без каких-либо ограничений фонетического или грамматического характера, и гораздо менее частотным аффиксом *-ŋ*, закрепленным только за склонением местоимений. *-ŋ* довольно редко присоединяется к личным местоимениям 1—2-го лица мн. числа (*biz-iŋ* KB 12 A8₇₃ 'наш', *siz-iŋ-siz* KB 27 A15₁₀₈ 'без вас' наряду с обычными *biz-niŋ*, *siz-niŋ*), несколько чаще — к вопросительному местоимению *kim* (*kim-iŋ* KB 344 B251₃₄₁₅ 'кого' при обычном *kim-niŋ*).

Винительный падеж представлен высокочастотным аффиксом *-nī*,

употребляющимся без каких-либо ограничений, высокочастотным аффиксом -п, закрепленным за именами с показателем принадлежности 3-го лица и варьирующим с -пI, а также гораздо менее частотным аффиксом -(I/U)g, присоединяющимся избирательно к «чистым» именам. Кроме того, в «Кутадгу билиг» встречается и малочастотный -I, изредка оформляющий как «чистые» имена (söz-i KB 280 C149²⁶⁷⁴ 'слово'); так и имена с аффиксами принадлежности 1—2-го лица ед. числа (köñlüm-i KB 22 C15₄₇ 'мое сердце,' žap-uñ-u KB 140 C55¹²³⁰ 'твою душу'), а также вопросительное местоимение kim (см.: kim-i 'кого' наряду с kim-pi KB 274 B 195²⁶¹⁵⁻²⁶¹⁶).

Из перечисленных падежных форм употребление вин. на -(I/U)g обнаруживает в целом ряде случаев чисто литературную обусловленность. Дело в том, что вин. на -(I/U)g в «Кутадгу билиг» особенно часто употребляется в составе концевой рифмы. Словоформы вин. на -(I)g рифмуются здесь с основным падежом имен, которые образованы посредством аффикса -(I)g/- (I)k от глагольных основ; рифмуется он также и с некоторыми именами, воспринимающимися как неразложимые. Так, рифмуются bil-ig 'знание' и вин. til-ig 'язык' KB 34 B25¹⁷⁴, čerig 'войско' и вин. er-ig 'мужа' KB 247 A87²³²⁸, qatıñ 'все' и вин. qıl-uñ 'раба' KB 19 C 14²⁸. Здесь, таким образом, литературно обыгрывалась оморфность словоизменительного и словообразовательного аффиксов, чем и поддерживалось употребление устаревшего показателя вин. падежа, не укладывающегося в тот тип склонения (по нашей терминологии — «уйгурско-кыпчакский»), который представлен в этом памятнике.

В «Кутадгу билиг» винительный на -(I)g имеет еще одно литературно обусловленное применение: словоформы вин. на -(I)g довольно широко употребляются также в составе различных словесных клише, например: bajat aty birlä söz-üg bašladym KB17 B13₁, 29 B21₁₂₄, 152 B 108¹³⁴³ 'Именем бога начал я речь', ölüm-üg unyt(ma) KB 144 C 58¹²⁷³, 150 B 107¹³²³, 155 B 111¹³⁸¹ '(He) забывай о смерти' и др.

Дательно-направительный падеж в языке «Кутадгу билиг» представлен высокочастотным аффиксом -qa/-kâ (-ya/-gâ), употребляющимся здесь без каких-либо ограничений фонетического и грамматического порядка. Низкочастотный дат. -A может встречаться с «чистыми» именами и с именами, имеющими при себе аффиксы принадлежности 1—2-го лица ед. числа (см.: ögdülmiš-â KB 199 A 70¹⁸¹⁵ 'Огдьюлмишу', oñlım-a KB 35 B 26¹⁸⁶ 'моему сыну', taruñ-a KB 330 B 239³²⁵¹ 'на службу к тебе'), а также в единичных усложненных падежных словоформах личного местоимения 1-го лица мн. числа (bizñ-â KB 623 A 179⁶²⁹¹ 'к нам'). Малочастотный аффикс -qañ/-yañ встречается только с именами, имеющими при себе аффиксы принадлежности (taruñ-p-yañ KB N 136 'в услужение к нему'). Несколько более частотный -yañ/-gâñ используется только с местоимениями — личными и указательными. Из числа последних более частотна словоформа тунyañ 'этому'; это объясняется тем, что она используется в составе словесного клише, довольно часто встречающегося в тексте поэмы: тунyañ meñzetü ajdu ša'ir bi söz KB 104 B 73⁸⁶⁷ 'Уподобляя этому, поэт сказал этакое слово', см. еще KB 110 B 77, 128 B 91, 215 A 76 и др.

К. Брокельман, рассматривавший, как и многие тюркологи, в качестве самостоятельных падежей дат. и напр. падежи (по его терминологии — датив и директив), не без оснований считал, что «директив стоит в свободных отношениях к падежной системе и не имеет четко выраженного окончания» [11. С. 154] (особенно словоформы на -га, -гу).

В языке «Кутадгу билиг» это чаще всего производные наречия, но не формы живого падежа. Вслед за А. М. Щербаком [12] мы не считаем -га, -гу падежными аффиксами.

Из вышеизложенного вытекает следующее. Количественно явно преобладающие в тексте «Кутадгу билиг» род. -пIη, вин. -пI (для имен с аффиксами принадлежности 3-го лица ед. и мн. числа -пI ~ -п), дат. -qa/-kã (-ya/-gã) непротиворечиво включаются в ту микросистему склонения уйгурско-кыпчакского типа, которая является базисной в языке поэмы. Употребление соответствующих падежных словоформ нейтрально в стилистическом отношении, литературно никак не обусловлено.

Малочастотные в тексте «Кутадгу билиг» родительный -Iη, винительный -I, дательный -A принадлежат к той микросистеме склонения огузского типа, которая является периферийной в языке поэмы. Употребление соответствующих словоформ обеспечивает окказиональную гибкость слогаделения в пределах словоформы, позволяя по мере необходимости изменять соотношения закрытых и открытых слогов, что необходимо при применении техники аруза. Ср.: biz-niη и bi-ziη 'наш', söz-ni и sō-zi 'слово', ög-dül-miš-kã и ög-dül-mi-šã 'Огдьюлмишу'.

Устаревшие приименный винительный -(I)g, дательно-направительный -qagu/-yagu (для имен с аффиксами принадлежности) и престоименный -yag/-gãg, как видим, имеют жесткие ограничения и в парадигмном охвате, и в частотности. Представляя собой ритмически разнотипные окончания по сравнению с вин. -пI, -п, дат.-напр. -qa/-kã, названные -(I)g, -qagu/-yagu и -yag/-gãg самим фактом своего варьирования с этими формами базисной микросистемы склонения обеспечивают окказиональную гибкость слогаделения в пределах одной и той же словоформы, а это необходимо при стихосложении в технике аруза. Особая роль и вес вин. -(I)g в составе концевой рифмы, использование этого приименного -(I)g и престоименного дат.-напр. -yag в составе словесных клише усугубляют литературную обусловленность их употребления в тексте «Кутадгу билиг».

Вот такая сложная, многомерная раскладка варьирующих падежных форм в языке «Кутадгу билиг» получается благодаря применению методического приема вычленения и дистинкции базисных и периферийных грамматических микросистем. Ясно, что те из варьирующих малочастотных падежных форм, употребление которых в тексте «Кутадгу билиг» литературно обусловлено, равно как и пропорции варьирования их с соответствующими стилистически нейтральными, «фоновыми» формами из базисной микросистемы склонения, должны найти отражение в истории литературного языка. В том же случае, когда языковые материалы «Кутадгу билиг» используются для исторической грамматики общенародного языка, для малочастотных форм периферийной микросистемы склонения места не находится.

В «Памятниках XIII—XIV вв.» (с. 30—48) при описании склонения такой многомерности не получилось, хотя варьирующих падежных форм здесь тоже недостаточно.

Родительный падеж представлен здесь аффиксом -пIη/-пUη; судя по приведенным примерам, это высокочастотный аффикс, не имеющий каких-либо ограничений фонетического или грамматического порядка. Аффикс -Iη/-Uη малочастотен; с помощью -Iη образуется род. падеж личных местоимений 1—2-го лица мн. числа (biz-iη 'наш', siz-iη 'ваш'), а в «Тефсире» он используется еще и для мн. числа лично-указательных местоимений (ular-yη/alar-yη/anlar-yη 'их', bular-yη 'этих') и для «чистых» имен, оканчивающихся на согласный (ul el-iη ewlägi 'жилища того народа'). С помощью -Iη ~ -Uη в некоторых памятниках образу-

ется род. падеж вопросительного местоимения *kim* 'кто', при этом допустимо варьирование с параллельными формами, образованными посредством *-niŋ/-nUŋ*: *kim-niŋ* ~ *kim-nüŋ* ~ *kim-iŋ* ~ *kim-üŋ* 'кого' (Памятники XIII—XIV вв. С. 30, 32).

Винительный падеж представлен аффиксами *-ni*, *-ni*; в отдельных памятниках в некоторых местах иногда встречаются также формы, образованные с помощью аффикса *-i*; отмечается, что этот аффикс в целом языку исследуемых памятников не свойствен. Из приведенных примеров видно, что используется аффикс *-i* в основном при именах, снабженных аффиксами принадлежности 1—2-го лица ед. числа (*köŋ-lüm-i* 'мое сердце', *özüm-i* 'меня самого'), в очень редких случаях — при «чистых» именах (*jeŋ-i* 'землю').

Дательно-направительный падеж образуется с помощью аффиксов *-ya/-gä/-qa/-kä*, *-A*, а в некоторых источниках спорадически он представлен древними формами на *-yaŋi/-gägü/-qagü/-kägü* и *-gA*. Относительно аффикса *-A* указывается, что он присоединяется к «чистым» именам, оканчивающимся на согласные, главным образом звонкие, а также к именам с аффиксами принадлежности 1—2-го лица ед. числа, 3-го лица ед. и мн. числа (*laškaŋ-a* 'войску', *jeŋ-ä* 'земле', *bojnum-a* 'на мою шею', *kirpüküŋ-ä* 'твоей реснице', *sözün-ä* 'его слову'). Употребление аффиксов *-yaŋi* и *-gA* иллюстрируется считанными словоформами: *taŋa* 'вовне', *artqaŋi* 'назад', *qaŋyaŋi* 'куда'.

Думается, в целях изучения литературных языков вопрос о варьировании падежных форм мог бы быть прояснен статистическими выкладками, с помощью которых могут быть четко показаны пределы варьирования параллельно используемых форм, наблюдениями над тем, в каких условиях используются варьирующие падежные формы, не связано ли их преимущественное употребление со стихотворным характером текста, не существует ли какая-либо другая литературная обусловленность их употребления в памятниках XIII—XIV вв. В целях исторической грамматики интерес представило бы установление базисной микросистемы склонения в языке этого периода.

Предложенная методика, включающая в себя сумму приемов и подходов к изучению языка памятника, разумеется, вполне применима к исследованию любой другой грамматической категории, особенно в таких трудных случаях, когда категория реализуется в памятнике (или группе памятников) формами, варьирующимися по-разному.

Примером могут послужить наборы глагольных временных форм в памятниках XIII—XIV вв. и рубежа XV—XVI вв. В целом они как будто схожи, что дало основание авторам «Исторической грамматики узбекского языка» [13. С. 154—171] рассматривать эти формы в едином потоке чуть ли не полной преемственности.

Рассмотрим в системе хотя бы только прошедшие времена. В языке памятников XIII—XIV вв. это прошедшие времена на *-di*, *-lb dur*, *-mİŝ dur*, *-yaŋ dur*, *-dUq*, а также аналитические прошедшие времена на *-lb edi*, *-A dur e(r) di*, *-(A/U)ŋ e(r) di*, *-mİŝ e(r) di*, *-yaŋ e(r) di*, *-duq e(r) di* (Памятники XIII—XIV вв. С. 177—190). В языке памятников рубежа XV—XVI вв. находим прошедшие времена на *-di*, *-lb dur*, *-mİŝ*, *-yaŋ (dur)*, аналитические формы *-lb edi*, *-A dur e(r) di*, *-(A/U)ŋ edi*, *-mİŝ e(r) di*, *-yaŋ e(r) di*.

Вроде бы разница небольшая — в памятниках XV—XVI вв. не представлены формы на *-dUq* и *-dUq erdi*, которые имеются в памятниках XIII—XIV вв.

На самом же деле изменилось соотношение форм внутри микроподси-

стемы прошедших времен. Действительно, форма *-dUq* не представлена здесь совсем, а *-mIš* малочастотна, употребляется с возможной модальной окраской (например, при изложении сна Бабура: *tüš kögärmen kim hazret hoža 'ubajdulla kelä emišlär men istiqballaryya çuqmušmen... hožapun aldyya bi takalluфраq dastarhan salmyslar [14. С. 102]* 'Снится мне сон, будто ко мне пришли их святейшество Ходжа Убайдулла. Я будто вышел им навстречу... Перед Ходжей будто бы разостлали скатерть слишком непарадную'. Здесь форма на *-mIš* означает такое действие в прошлом, которое на самом деле не происходило, а только казалось, что оно происходит). Массово частотной, стилистически нейтральной по своему употреблению в памятниках рубежа XV—XVI вв. является прошедшее на *-yaп(dur)*. На этом фоне малочастотная форма *-mIš* выглядит периферийной, явно инодиалектной. Среди аналитических прошедших времен *-yaп e(r)di* частотна, а *-mIš e(r)di* — очень редко употребляема (при полном отсутствии *-dUq erdi*).

Ясно, что, говоря о языке рубежа XV—XVI вв., вряд ли целесообразно включать в историческую грамматику узбекского языка прошедшие времена на *-dUq*, *-mI:š* и *-mI:š e(r)di*. Что же касается истории литературного языка, то эти временные формы должны быть там упомянуты — с приведенными оговорками статистического порядка, возможной литературной обусловленности их использования в этот период, пропорциями употребления их и стилистически нейтральной частотности преобладающей формы на *-yaп*, *-yaп e(r)di*.

Итак, для решения важной проблемы историко-лингвистических исследований — соотношения «истории литературного языка» и «исторической грамматики общенародного языка» — при изучении любого письменного памятника эффективным оказывается сочетание жанрово-метрического, функционально-стилистического подходов с принципом системности описания материала и учетом статистических показаний. Выработанный на этой основе методический прием вычленения и дистинкции высокочастотных форм базисной микросистемы (стилистически нейтральных, литературно не обусловленных) и малочастотных форм периферийной микросистемы той же грамматической категории (как правило, литературно обусловленных) вполне применим и в том многочисленном соотношении дисциплин историко-лингвистического цикла, которое предложил Э. Р. Тенишев, а именно: «историческая грамматика конкретного общенародного языка» — «историческая грамматика литературного языка» — «история литературного языка».

Вычленение из дисциплины «история литературного языка» самостоятельной поддисциплины «историческая грамматика литературного языка», как представляется, носит вынужденный характер и продиктовано нынешним состоянием исторической тюркологии: накопился большой массив исследований, в которых описывается язык памятника (группы памятников), а чаще — языковые особенности средневекового памятника по сравнению с соответствующим современным литературным языком или даже вообще — с современным общенародным языком и его говорами — без аргументированного обоснования такого сравнения, без разработки специальной методики такого сравнения. Относить работы подобного рода к истории литературного языка было бы большой натяжкой, поскольку в них, как правило, никак не учитывается специфика литературного языка, отражение в языке жанрово-метрической, функционально-стилистической дифференциации и пр. И это, разумеется, не историческая грамматика общенародного языка, хотя именно такое название носят некоторые работы подобного рода. Вычленение новой поддисциплины представляется нам целесообразным и плодотворным уже потому, что при наличии предмета «историческая

грамматика литературного языка» неправомерно будет выводить из несотношение языка того или иного памятника к общенародному языку (см., например, довольно распространенное мнение о том, что только «незначительные» морфологические элементы в языке Навои не сохранились в современном узбекском общенародном языке), равно как и проецировать все формы, существовавшие в средневековом литературном языке, на современный общенародный язык и его говоры, т. е. не подменять исторической грамматикой литературного языка историческую грамматику общенародного языка.

Предложенное многочисленное соотношение дисциплины историко-лингвистического цикла можно пополнить, включив в него еще и историческую грамматику тюркских (общенародных) языков в целом. Полнее воссоздать пути развития тюркских языков в исторически обозримые периоды — вместе с поисками выражения потенциально грамматических содержаний (по терминологии А. В. Бондарко), а иногда и утратами найденных способов выражения — поможет тщательный учет языковых данных всего корпуса тюркоязычных памятников, подготовленных к такому использованию с помощью методического приема вычленения и дистинкции форм базисных грамматических микросистем и форм периферийных микросистем. Нельзя упускать из виду при этом и, казалось бы, необычные языковые явления, даже аномальные с точки зрения состояния современных тюркских языков. При возможной группировке таких фактов одни из них можно будет объяснить как прежде недостававшие звенья в эволюционной цепочке тех или иных построений. Другие поддаются истолкованию в плане поиска языкового выражения потенциально грамматического содержания [15].

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ XIII—XIV асрлар туркий адабий ёдгорликлар тили: Морфология. Тошкент, 1986 (далее в тексте сокращено — Памятники XIII—XIV вв.).

² Обоснования этого воззрения были разбросаны у Э. Н. Наджиба по многочисленным статьям в изданиях разных лет, из-за чего порой их трудно разыскать. Пользуясь случаем, сообщаем, что ГРВЛ издательства «Наука» сдала в производство сборник работ Э. Н. Наджиба «Исследования по истории тюркских языков XI—XIV вв.» (20 а.л.).

³ *Самойлович А. Н.* Материалы по среднеазиатско-турецкой литературе. IV: Чагатайский поэт XV в. Атай//ЗКВ. Л., 1927. Т. 2, вып. 2.

⁴ *Тенишев Э. Р.* О наддиалектном характере языка тюркских рунических памятников//Turcologica. Л., 1976.

⁵ *Он же.* Функционально-стилистическая характеристика древнеуйгурского литературного языка//Социальная и функциональная дифференциация литературных языков. М., 1977.

⁶ *Он же.* Исследование типологии древнеуйгурских литературных языков//Теоретические проблемы восточного языкознания. М., 1977. Т. 2.

⁷ *Он же.* Языки древне- и среднетюркских письменных памятников в функциональном аспекте//Вопр. языкознания. 1979. № 2.

⁸ См.: *Благова Г. Ф.* Тюркское склонение в ареально-историческом освещении: (юго-восточный регион). М., 1982.

⁹ Далее в тексте даются сокращенные ссылки на [10].

¹⁰ Kutadgu Billig/Nesri R. R. Arat. Istanbul, 1947. Ç. 1: Metin.

¹¹ *Brockelmann C.* Osttürkische Grammatik der islamischen Litteratursprachen Mit-telasiens. Leiden, 1954.

¹² *Щербак А. М.* Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков: (Имя). Л., 1977.

¹³ *Абдурахмонов Ф., Шукуров Ш.* Узбек тилининг тарихий грамматикаси: Морфология ва синтаксис. Тошкент, 1973.

¹⁴ «Бабер-наме, или Записки султана Бабера». Изданы в подлинном тексте Н. И. [Ильминским]. Казань, 1857.

¹⁵ См.: *Благова Г. Ф.* Потенциально грамматические содержания и их межуровневая реализация в истории тюркских языков//Сов. тюркология. 1986. № 6.

Л. Ю. ТУГУШЕВА

**«ДИВАН ЛУГАТ ИТ-ТЮРК» МАХМУДА КАШГАРИ И ЕГО СВЯЗИ
С РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ ТЮРКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ**

«Дивану лугат ит-тюрк» Махмуда Кашгари посвящено немало исследований, которые с достаточной полнотой раскрывают значение этого сочинения и отдают дань Махмуду Кашгари как «первому исследователю тюркских языков», «лексикографу и лингвисту, этнографу и фольклористу, географу и историку» [1. С. 17]. Записи на полях сохранившейся копии и коррективы, внесенные позднее, говорят о том, что труд Махмуда Кашгари не был предан забвению в последующие эпохи, а в начале текущего столетия он был как бы открыт заново, издан, переведен на многие языки и признан одним из ценнейших источников для изучения языка и культуры народов Средней и Центральной Азии в раннем средневековье. Судя по количеству публикаций, так или иначе затрагивающих «Диван лугат ит-тюрк», интерес к сочинению Махмуда Кашгари в настоящее время значительно превосходит интерес к сочинению Абу Ибрахима Исхака Ибрахима ал-Фараби «Диван ал-адаб (фй байан лугат ал-'араб)», послужившему непосредственным образцом для создания «Дивана» Махмуда Кашгари [2. С. 85—90].

На основе кратких сведений, представленных в «Диване», установлено, что Махмуд Кашгари происходил из рода, принадлежащего к династии Караханидов; его отец — Хусейн бин Мухаммед — был правителем (эмиром) Барсхана. Кашгарские традиции повлияли в определенной степени на образование, полученное Махмудом Кашгари. Имеется упоминание о том, что одним из его учителей был Хусейн ибн Халифа из Кашгара [3. С. 168—169]. Целый ряд фактов, начиная с посвящения «Дивана» халифу ал-Муктади, свидетельствует о том, что сочинение свое Махмуд Кашгари составил в Багдаде [4. С. 22—23]. В «Диване» сообщается также, что Махмуд Кашгари обошел «все селения и степи» тюрков (МК 3). Цели его путешествия не установлены; учитывая условия эпохи, трудно допустить, что оно предпринималось в собственно лингвистических целях. Но несомненно, что путешествие это способствовало восполнению сведений о языковых и культурных традициях тюркоязычных народов, которые, как признано, Махмуд Кашгари сумел в своем сочинении «свести и объяснить» [5. С. 5].

Замечания в «Диване», касающиеся Барсхана, позволяют заключить, что эту область Махмуд Кашгари знал не на основе кратковременных и случайных наездов. В «Диване» указано точное местонахождение области, путь в которую с юга пролегал через Бедельский перевал (МК 198). Махмуд Кашгари относит Барсхан к числу областей, где говорили на «чистом» тюркском языке (МК 25), на чигильском наре-

ции (МК 25 и 199), отметив вместе с тем, что наречию барсханцев при-
сущи некоторые черты, отличающие его от стандарта (МК 551). По
всей видимости, именно Барсхан, где правил его отец, был для Махмуда
Кашгари *törkün* «отчим домом», и в силу этого обстоятельства он мог поз-
волить себе процитировать стих, носящий отпечаток фамильярности по
отношению к барсханцам и представляющий их не лучшим образом:

Quş jawuzy saýzuýan
juýaç jawuzy azýan.
jer jawuzy gazýan
bodun jawuzy barsýan.

Худшая из птиц—сорока,
худшее из деревьев — азган,
худшая из земель — размытая,
худший из народов — барсхан
(МК 220—221).

Что представлял собой в тот период Барсхан, сыгравший извест-
ную роль в родовой истории Махмуда Кашгари? Эта область распола-
галась на берегу озера Иссык-Куль в относительной близости от Чуй-
ской долины, где, по данным источников, истари находилась ставка
тюркских правителей. Озеро Иссык-Куль объединяло эти две области,
так как по берегу озера проходила одна из наиболее удобных дорог, сое-
динявших разные районы Средней и Центральной Азии. Китай-
ский религиозный деятель и путешественник Сюань-цзан, в начале
VII в. (629 г.) посетивший земли «тюрков», в составленных им по
возвращении из длительного путешествия по Центральной Азии и
Индии «Записках о западных странах» и «Биографии», записанной его
учеником, представил одно из наиболее точных, объективных описаний
того, что он имел возможность наблюдать, проходя через эти области.
Из Восточного Туркестана, где произошло его первое столкновение
с «тюрками», Сюань-цзан проследовал к южному берегу Иссык-Куля
по тому же пути, который, по данным «Дивана» Махмуда Кашгари, соеди-
нял Восточный Туркестан с Барсханом, и далее по берегу прошел до реки
Чу. Спустившись вниз по ее течению, он прибыл во временную ставку
тюркского хана, находившуюся, как вычислено по маршруту Сюань-
цзана, приблизительно на месте современного города Токмак в Кир-
гизской ССР [6]. Описывая свою встречу с тюркским ханом, Сюань-
цзан наряду с другими фактами сообщает, что при дворе хана он
излагал положения буддизма и был удостоен внимания и одобрения
хана [8. С. 44.]. Описанный Сюань-цзаном случай свидетельствует, что
в VII в. окружению тюркского хана были вполне доступны новейшие
для того времени религиозно-философские идеи, проповедником кото-
рых, как известно, выступал Сюань-цзан.

В источниках также имеются сведения о том, что ранее, в VI в.,
во время правления хана Таспара (572—581), на тюркский язык было
переведено буддийское сочинение «Нирвана-сутра» [9. С. 22] доста-
точно отвлеченного религиозно-философского содержания, перевод
которого не мог быть осуществлен без соответствующей языковой и
культурной базы. VI век, как известно, относится к периоду экстенсив-
ного распространения буддизма, и перевод буддийских сочинений на
тюркский язык в ту эпоху свидетельствует о том, что культура тюрко-
язычных народов развивалась синхронно с культурой других народов
Центральной Азии. Одним из основных центров развития культуры тюр-
коязычных народов была Чуйская долина.

Караханидское государство, столица которого — город Баласагун—
так же, как и административный центр Тюркского каганата, нахо-
дилась в Чуйской долине, возникло на основе существовавшей ранее
конфедерации тюркоязычных племен с центром в Чуйской долине и

унаследовало ее культурные традиции. Литературный язык, бывший в ходу при дворе Караханидов и зафиксированный, в частности, в сочинении Юсуфа Баласагунского «Кутадгу билиг», развился на основе стандарта предшествующих эпох и сохранял отчетливые признаки связи с ним.

На основе приведенных фактов можно заключить, что Махмуд Кашгари происходил из мест, являвшихся колыбелью культуры тюркоязычных народов. Образование он получил в Кашгаре, территориально, экономически и культурно тесно связанном с уйгурским государством Кочо, ставшим в рассматриваемый период также одним из главных культурных центров.

Государство Кочо было основано в первой половине IX в. после распада Уйгурского каганата и переселения части уйгурских племен, входивших в его состав, в Восточный Туркестан. Время существования княжества Кочо (850—1250) отмечено литературным движением, оказавшим существенное влияние на последующее развитие тюркоязычной литературы. Некоторые из произведений, созданных в период существования государства Кочо, хотя и в фрагментарном виде, но сохранились до наших дней. Язык этих произведений их авторы называли тюркским — *türk tili* [10], что прямо указывает на связь между литературным языком предшествующего периода и языком, принятым в государстве Кочо. Литературный язык Кочо получил наиболее яркое отражение в произведениях Шынгко Шели Тутунга. В настоящее время установлено, что перу Шынгко Шели Тутунга принадлежат такие значительные произведения, как уйгурские версии сутр «Суварнапрабхаса», «Сахасракша» и «Биографии Сюань-цзана». Особое место среди них занимает уйгурская версия «Биографии Сюань-цзана». Оригинал этого произведения был составлен Хузй-ли при жизни Сюань-цзана и, по единодушному признанию исследователей, отличается изысканной простотой стиля, живостью изложения, информативностью, и другими особенностями, воспроизведение которых в переводе было сопряжено со значительными трудностями. Но Шынгко Шели Тутунг сумел в достаточной мере адекватно отразить все уровни семантики оригинала — от собственно языковых до структурно-поэтических, благодаря чему произведение Шынгко Шели Тутунга стало одним из значительных достижений тюркоязычной литературы в эпоху раннего средневековья. Жанрово-стилистическая неоднородность памятника способствовала отражению в нем разных функционально-стилистических пластов литературного языка и оснащению его выразительными средствами разговорной речи. Поэтому в этом произведении более отчетливо, в сравнении с другими, отражена языковая ситуация, сложившаяся в Кочо в первой половине XI в. К этому времени, как установлено Дж. Р. Гамильтоном на основе анализа данных об употреблении титулов *šäli* и *tutung*, относится деятельность Шынгко Шели Тутунга [11. С. 425—437].

Соответственно, судя по датам завершения «Дивана», Махмуд Кашгари мог быть младшим современником Шынгко Шели Тутунга, и, во всяком случае для Махмуда Кашгари, его произведения являлись современной литературой. Многочисленные замечания в «Диване», касающиеся уйгуров и «Уйгурии», говорят о том, что Махмуд Кашгари был прекрасно знаком с культурой этого региона. Он отмечает, что язык уйгуров является «чистым тюркским языком» (МК 24) и тем самым включает его в состав понятия «тюркский язык» в том значении, в котором оно употребляется в «Диване». Говоря о «тюркском языке», Махмуд Кашгари имеет в виду один определенный язык, что со всей очевидностью вытекает из его замечания о том, что некоторые тюркоязычные народы, кроме своего языка, знали также «тюркский»

(МК 25). Отсюда же следует, что этот язык был в ходу у многих народов, в повседневной жизни использовавших иной, «свой» язык, и служил супрадиалектным средством общения.

Приняв в качестве образца сочинение ал-Фараби, Махмуд Кашгари строго следует принципам арабской филологической школы. Он располагает слова в пределах «глав» в алфавитном порядке по особой системе, упорядочивая их на первом этапе по последнему согласному слова; снабжает статьи по мере необходимости иллюстративным материалом, привлекая в качестве примеров поговорки, изречения, пословицы, стихи и т. п.; в целях сопоставления обращается к материалу разных диалектов и наречий, но в качестве основного предмета описания, в полном соответствии с традициями арабской филологии, принимает язык литературный. Это обстоятельство нашло отражение в его высказывании, что арабский и тюркский языки равны и не уступают друг другу, «состязаясь»... «подобно двум коням в скачке» (МК 5), прямо указывающем на то, что Махмуд Кашгари рассматривает эти языки как явления сопоставимые и равнозначные.

Эти факты позволяют соотнести термин *türk tili*, которым оперирует Махмуд Кашгари, с *türk tili* раннесредневековых тюркоязычных письменных памятников, принятым, как отмечалось выше, для обозначения стандартного литературного языка. У Махмуда Кашгари в «Диване» литературный язык является лишь предметом описания, в то время как в литературных произведениях он предстает как средство передачи и аккумуляции информации во всем многообразии элементов и их функций. В силу этого данные письменных памятников служат главным и надежным критерием, на основе которого можно судить о достоверности, типичности, характерности фактов, представленных в «Диване» [12]. В свою очередь, новое открытие «Дивана» в начале XX столетия явилось важнейшим вкладом в дело изучения памятников древнетюркской письменности, в частности памятников из Восточного Туркестана [13. С. 305].

Махмуд Кашгари, по-видимому, не случайно принял в качестве образца схему ал-Фараби, несмотря на то, что она, судя по числу последователей, не была популярна у арабских лексикографов. Есть основания предположить, что он остановил свой выбор на этой схеме в силу ее меньшей, в сравнении с другими, обусловленности характером материала семитских языков. В «Диване» ал-Фараби в качестве главных признаков, на основе которых группируется лексический материал, приняты: количество согласных в слове, принадлежность слова к грамматическому разряду имен и глаголов, способ словообразования и т. п. — признаки, нейтральные по отношению к строю языка. Способ же группировки лексики по последнему согласному слова в силу агглютинативного строя тюркских языков позволяет естественным образом объединить и представить в комплексе идентичные формы слов. Деление лексического состава языка лишь на два разряда — имена и глаголы, — предусмотренное схемой ал-Фараби, абстрагировано от конкретных свойств языков и практически приложимо к любому языку, хотя при подобном способе членения в разряд имен и глаголов неизбежно попадают слова, относящиеся к иным лексическим группам. Укладывая тюркский язык в прокрустово ложе схемы, выработанной на основе языка иного строя, чем тюркские, Махмуд Кашгари приспособливает схему к языку, но не язык к схеме, и попытки расценить некоторые лексемы, грамматические формы и конструкции, представленные в «Диване», как не характерные для тюркских языков, созданные нарочито в угоду схеме, часто не подтверждаются фактами. Речь

идет в данном случае не о так называемых словах-призраках (ghost words) [5. С. 25—31], не существующих в языке, а появившихся, как доказано в настоящее время исследованиями Р. Данкоффа и Дж. Келли, в результате ошибки переписчика или правок, внесенных впоследствии [14], а о лексемах, грамматических формах и конструкциях, правильность отражения которых в списке «Дивана» в сравнении с оригиналом не подвергается сомнению; сомнительно же их существование в естественной речи. К числу таковых отнесены, к примеру, конструкции с элементом *ol*, образуемые по схеме: *bu qujaš ol kišini usytu-yaп*. В одной из работ, посвященных анализу иллюстративного материала в «Диване» Махмуда Кашгари, Х. Г. Нигматов пишет об этом типе конструкций: «Подобные конструкции не свойственны тюркским языкам и... образованы по аналогии с арабскими именными предложениями типа: 'этот человек — студент первого курса'... Для арабского языка подобные конструкции являются нормой, а тюркским они чужды. Эти *бу* и *ол* в составе тюркских предложений ничего общего со структурой предложений тюркских языков не имеют, и нельзя их переводить указательными местоимениями, как это часто делается в тюркологической литературе. Примеры Махмуда Кашгарского, где *ол* встречается в середине предложения, видимо, следует рассматривать как атрибутивные обороты: *kišini usytuяп qujaš* 'зной, вызывающий у человека жажду'» [15. С. 101]. Подобная интерпретация верна лишь при условии, если расценивать факты с точки зрения современных тюркских языков. Но они предстают в ином свете, если обратиться к данным раннесредневековых тюркоязычных письменных памятников, в языке которых такого рода синтаксические конструкции, образуемые по схеме: *субстантив+глагольное имя (атрибутив, субстантив)+ol*, являются нормальными и продуктивными. В этих конструкциях, по характеру синтаксической связи относящихся к разряду предикативных, *ol* выступает в особой роли показателя предикативности, в которой в современных тюркских языках он не встречается [16. С. 275—281]: *bujan ädgiü qylyпč qylyu ol* 'необходимо совершать добрые деяния' (ТТ I 68), *öz başyp kislägiü ol* 'нужно укрывать свою голову' (Insadi, 36), *ayup anča timiш ol* 'поэтому так называли' (СЦ V 4 6 25—26), *bu ärsär arxant dintar ol* 'это—святой архат' (СЦ V 2 622), *bu šacıu kägdäsi ol* 'это — шачжоуская бумага' (ТТ V B₀), *ol taluj suvy ärtинgü qorqynčlyu adalyu ol* 'воды этого океана очень страшны и опасны' (КР XXVI, 4—6), *ayup aяay üküš-i siz-lärkä ol* 'больше почестей (будет) вам' (Insadi, 205—206).

Одним из главных свидетельств того, что в конструкциях этого типа *ol* выступает в роли показателя предикативной связи, является возможность изменения способа синтаксической связи и нарушения предикативной связи в сходных условиях при отсутствии этого элемента. Ср.: *bu šacıu kägdäsi ol* 'это — шачжоуская бумага' ≠ *bu šacıu kägdäsi* 'эта шачжоуская бумага': *ayup aяay üküš-i siz-lärkä ol* 'больше почестей (будет) вам' ≠ *ayup aяay üküš-i siz-lärkä* 'многие почести вам...'

В предикативных конструкциях, образованных с помощью элемента *ol*, последний не всегда занимает финальное положение в предложении. Встречаются коммуникативные варианты этого типа конструкций, в которых группа сказуемого вместе с показателем предикативности занимает в предложении начальную позицию: *alp ol söz-lägiäli* 'трудно описать здесь во (всей) полноте' (СЦ V48, 24—25). Примеры из «Дивана», рассматриваемые Х. Г. Нигматовым, являются

такого рода инверсными вариантами предикативных конструкций (bu qujaš ol kišini usytıan = bu kišini usytıan qujaš ol), образованных с помощью ol в роли показателя предикативности, и поэтому совершенно естественно, что этот элемент не несет в них проминального значения, как отмечено Х. Г. Нигматовым, впервые обратившим внимание на этот факт. Приводя в качестве иллюстраций в «Диване» этот вид конструкций, Махмуд Кашгари не только не отступает от норм тюркского языка, а, напротив, отражает одну из характернейших особенностей синтаксиса древнетюркских языков. Вообще говоря, объяснение встречающихся в «Диване» экстраординарных с точки зрения современных тюркских языков фактов влиянием схемы в большинстве случаев основано на недостаточной осведомленности о свойствах тюркского стандарта эпохи раннего средневековья. Будучи чутким филологом, Махмуд Кашгари не мог представить факты неточно под влиянием внешних условий. Скорее можно наблюдать обратное. Когда условия схемы служат препятствием на пути к точности интерпретации фактов, Махмуд Кашгари отходит от условий, диктуемых схемой. Так, например, термин *gikkah* 'слабый', используемый в соответствии с арабскими лингвистическими традициями для обозначения некоторой группы неустойчивых звуков в арабском языке [17], Махмуд Кашгари применяет для обозначения переднеязычных согласных и мягкорядных гласных, рассматриваемых им как соотнесенные с заднеязычными и твердорядными звуками в плане сингармонического противопоставления лексических единиц. Махмуд Кашгари приспособливает в данном случае специфический термин, принятый в арабской филологии, для отражения одной из характерных особенностей строя тюркских языков, и это — не единичный случай.

Что касается главного в содержании «Дивана» — трактовки значений отдельных лексических единиц, то она, по сути дела, независима от схемы. Одним из наглядных примеров тому служит толкование в «Диване» глагольных основ на -la, -lap. Известно, что глаголообразующие аффиксы -la, -lap относятся к числу наиболее употребительных морфологических показателей как в современных, так и в древних тюркских языках и являются одними из важнейших элементов в словообразовательной системе тюркских языков [18. С. 35—133]. Семантическая структура образований с аффиксами -la, -lap разнообразна и обусловлена лексическим и вещественным значением именных основ. Выявлены некоторые закономерные связи между значениями именных основ и производных глаголов, зафиксированных в грамматиках в виде правил. Вместе с тем в языках представлено множество образований с -la, -lap, значение которых не укладывается в рамки установленных правил и практически непредсказуемо. Имеются они и в «Диване» Махмуда Кашгари, например: *uyugla-* 'сделать что-либо вовремя (своевременно)' (МК 152), *ayuzla-* 'делая протоку' (МК 152), *isiglä-* 'испытывать чувство жары' (МК 155), *üşiklä-* 'схватить (поймать) дичь, ослабленную (онемевшую) от холода' (МК 155), *üküşlä-* 'считать, находить многочисленным' (МК 153), *ayugla* 'отбирать (выбирать) лучшее' (МК 153), *agala-* 'занять промежуточное положение' (МК 156), *quşlaylap-* 'использовать местность для охоты на птиц' (МК 403), *tarmaqlap-* 'разделяться на группы (о племенах)' (МК 403), *boştaqlap-* 'завязать завязки на одежде' (МК 403), *butuqlap-* 'делиться на протоки' (МК 403), *äğkäçläp-* 'волноваться, подниматься (о волнах)' (МК 157), *artuqlap-* 'выйти за пределы своих возможностей' (МК 157), *ägrimläp-* 'образовывать завихрения (о потоке)' (МК 158), *boşlaylap-* 'действовать неумело' (МК 402) и мн. др.

Способ группировки, определяемый общей схемой сочинения Махмуда Кашгари, в этих случаях остается внешним по отношению к семантической структуре группируемых единиц и не дает ключа к раскрытию их значения. Значение лексем, каждой в отдельности, устанавливается только на основе толкования Махмуда Кашгари и данных письменных памятников той эпохи.

Значение одних и тех же глагольных основ, образуемых с помощью аффиксов *-la*, *-lap*, как известно, может быть различным в зависимости от условий функционирования в разные периоды и в разных регионах [18. С. 35—133]. Например, глагол *atla-* в уйгурском языке в эпоху раннего средневековья имеет значение 'выступать в поход' (ДТС. С. 67), в то время как в большей части современных тюркских языков он представлен в значении 'шагать'; *tašla-* 'бросать камень' (уйгур.) и 'бросать' (совр.) и т. д. Среди приведенных выше глагольных основ из «Дивана» Махмуда Кашгари фактически ни одна в современных языках не имеет того значения, которое отмечено в «Диване», и эти различия в значении не являются случайными. В них отражены системные свойства лексики, определяющие состояние языка в данный период развития. В силу этого особую ценность представляют именно те сведения в «Диване», которые раскрывают конкретные свойства отдельных элементов языка. Степень точности их отражения всецело определяется осведомленностью и глубиной знаний Махмуда Кашгари о языковых и реальных фактах и явлениях, но не построением его сочинения.

Точкой отсчета для Махмуда Кашгари служит литературный язык, и это отражено в оценках, которые он дает языковым фактам, оперируя понятиями «правильный», «неправильный», «изящный», «грубый», «чистый», «изысканный» и т. п.; по-видимому, он признает вариант *astyn* 'внизу' более «грубым» в сравнении с *altyn* в том же значении не потому, что он ассоциируется с арабским *ist* [5. С. 46], а потому, что *altyn*, как свидетельствуют источники, является вариантом, принятым в литературном языке.

Сопоставление со стандартом, представленным в литературных произведениях той эпохи, показывает, что факты, приводимые в «Диване» Махмуда Кашгари, сколь бы неожиданными на первый взгляд они ни казались, в действительности отражают типические черты языка и могут получить адекватную интерпретацию, если рассматривать их на фоне литературы того времени, являющейся истинным фундаментом сочинения. И если Махмуд Кашгари горделиво заявляет, что арабский и тюркский языки равны друг другу, подобно двум состязающимся скакунам, то за этим стоит прежде всего уверенность в сопоставимости выразительных возможностей этих двух языков, основанных на соответствующих литературных и культурных традициях.

Положив в основу своего сочинения авторитетный образец, Махмуд Кашгари поступает согласно установлениям своего времени, определяемым средневековыми эстетическими нормами, в соответствии с которыми следование некоему «идеальному» образцу являлось одним из условий функционирования произведения искусства как такового [19. С. 156—157]. Естественно, что Махмуд Кашгари строил свое сочинение по образцу, приемлемому для окружения багдадского халифа, которому было адресовано сочинение, и значение образца как схематической основы его сочинения нельзя недооценивать. Но в пределах заданной схемы Махмуд Кашгари реализует свои идеи и находит способы представить тюркский язык и его строй как явление самостоятельное, отражающее особый тип культуры. К осуществлению

своей цели он шел непроторенными путями; о достигнутых им результатах свидетельствует непреходящее значение его труда.

СОКРАЩЕНИЯ

- СЦ V — Тугушева Л. Ю. Фрагменты уйгурской версии биографии Сюань-цзана М., 1980.
 Insadi — Semih Tezcan. Das uigurische Insadi-Sūtra//Berliner Turfantexte. III. Schr. Or. 1974.
 КР — Hamilton J. R. Le co conte bouddhique du Bon et du Mauvais prince en version ouigoure. P., 1971.
 МК — Mahmud al-Kāşgari. Di:vān Luḡāt at-Türk.
 ТТ — Türkische Turfantexte.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ Кононов А. Н. Махмуд Кашгарский и его «Дивану лугат ит-тюрк»//Сов. тюркология. 1972. № 1.

² Халидов А. Б. «Диван лугат ит-тюрк» в сравнительном освещении с его арабским прототипом//Сов. тюркология. 1984. № 4.

³ Hartmann M. Di:vān luḡāt at-türk'e ait birkaç mülâhaza//Millî Tetebütlér Mecmuası. 1914—1915. С. 2, № 4.

⁴ Кляшторный С. Г. Эпоха Махмуда Кашгарского//Сов. тюркология. 1972. № 1.

⁵ Mahmud al-Kāşgari. Compendium of the turkic dialects (Di:vān Luḡāt at-Türk)/Ed. and Translated with Introduction and Indices by Robert Dankoff in collaboration with James Kelly//Printed at the Harvard University Printing Office. 1982. Part I.

⁶ Встреча Сюань-цзана с тюркским ханом описана в «Биографии» следующим образом: (В ставке) я встретился с тюркским ханом Чжеху, который в это время собирался на охоту. Его воинское снаряжение было впечатляющим. Хан был облачен в одеяние из зеленого шелка. Белый шелковый тюрбан около десяти футов длиной был обернут вокруг лба и свисал за спиной, оставляя волосы открытыми. Его окружали две тысячи человек с заплетенными в косу волосами; все они были одеты в расшитые шелковые одеяния. Воины носили войлочные одежды, сделанные из грубой шерсти, и в руках держали штандарты и луки. Верблюдов и лошадей было столько, что ряды их занимали все пространство, которое можно было охватить взглядом. Хан выразил удовольствие по поводу встречи с наставником [7] и сказал: «Я должен вернуться через два или три дня. Вам нужно переехать в мою главную ставку». Затем он приказал одному из своих уполномоченных, именуемых Та-мо-чи, сопроводить наставника в его официальную резиденцию, куда наставник и был доставлен. Хан вернулся через три дня и пригласил наставника на прием. Хан жил в просторном шатре, орнаментированном сверкающими золотыми цветами. Его приближенные были одеты в великолепные расшитые одежды и сидели на циновках двумя длинными рядами перед ханом, внимая ему, в то время как вооруженная охрана стояла позади него. Хотя хан был правитель, живший в шатре, он обладал изысканными манерами, внушающими почтение. Когда наставник приблизился к шатру на расстояние около тридцати шагов, хан вышел ему навстречу, приветствовал, ввел в шатер и усадил. Тюрки поклоняются огню, поэтому у них не принято использовать деревянные лежа, так как дерево содержит элемент огня. Из-за поклонения они не садятся ни на что деревянное, а сидят на двойных тюфяках на полу. Наставнику для сидения было приготовлено ложе с тюфяком, имеющее железный остов. Вслед за ним в шатер были препровождены посол из Китая и гонец из Гаочана. Они поднесли хану письма и верительные грамоты, и хан с видимым расположением попросил послов сесть и зачитать их. Затем он приказал подать вино и пригласить музыкантов... Чуждая музыка, создававшая большой шум, хотя и была грубовата по звучанию, но полна очарования и приятна для слуха. Была подана еда, состоящая из вареной говядины и баранины, выставленная грудями в больших количествах. Для наставника была приготовлена специальная «чистая» еда, состоящая из лепешек, риса, молока, масла, сахара, меда и винограда... Далее говорится, что из Средней Азии Сюань-цзан через горный проход Железные ворота, которые он называет «воротами тюрков», проследовал в Кундуз, правителем которого в тот период был старший сын тюркского хана. (The Life of Hsuan-tsang. Translated from Chinese by Li Yung-hsi. The Chinese Buddhist Association. Peking. 1959. С. 43—44).

- ⁷ Сокращенное от «наставник в Трипитаке»—титул Сюань-цзана.
- ⁸ The Life of Hsuan-tsang.
- ⁹ Tekin Ş. Maytrisimit (Uygurca metinler II). Ankara, 1976.
- ¹⁰ См.: колофоны в «Майтрисимит ном битиг», уйгурской версии биографии Сюань-цзана, Ситатапатра-дхарани и других раннесредневековых тюркоязычных литературных произведениях.
- ¹¹ Hamilton J. Les titres šāli et tutung en ouïgour//J. Asiatique. 1984. Т. 272. 3—4.
- ¹² Это положение не противоречит несомненно эффективной по результатам установке на ориентирование при установлении значения тюркских элементов текста «Дивана» прежде всего на толкование самого Махмуда Кашгари [5. С. 26].
- ¹³ Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. М.; Л., 1951.
- ¹⁴ К такого рода словам-призракам относятся, например, первые три слова в ошибочно прочитанном на основе внесенных позднее диакритических знаков предложении baɣuq jaɣuɣ ɟuɟa kōɣdūt, которое первоначально имело вид: juɟaɣ baɣuɣ qaɣa kōɣdūt 'посмотрев вдаль, я увидел (нечто) чернеющее' [5. С. 26].
- ¹⁵ Нигматов Х. Г. Некоторые особенности тюркских авторских примеров в «Диване» Махмуда Кашгари//Сов. тюркология. 1972. № 1.
- ¹⁶ Тугушева Л. Ю. ОI в раннесредневековом уйгурском литературном языке//Tug-sologica. М., 1986.
- ¹⁷ Выражаем признательность А. Б. Халидову, предоставившему сведения о значении термина gikkah в арабских филологических сочинениях.
- ¹⁸ Севортян Э. В. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. М., 1962.
- ¹⁹ См.: Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970.

Н. М. ХУДИЕВ

**ОБОГАЩЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА ЗА СЧЕТ АББРЕВИАТУР**

В обогащении словарного состава азербайджанского литературного языка большую роль сыграло сложносокращенное словопроизводство— аббревиация. Данное явление в азербайджанском языке активизировалось только в советскую эпоху, что было вызвано влиянием аббревиации русского языка в процессе взаимодействия и взаимообогащения языков.

Анализ тюркоязычных письменных источников показывает, что сложносокращенные слова встречаются только в текстах религиозного содержания, причем все они относятся к арабизмам [1. С. 522]. Подобные сокращения вряд ли можно назвать образцами аббревиации, потому что аббревиатуры, по мнению исследователей, должны обладать всеми особенностями остальных слов языка [2. С. 42], тогда как арабские религиозные и сакральные знаки не формировались как слова и не проникли в живую разговорную речь.

В первые годы Советской власти, когда в азербайджанском языке еще использовалась арабская графика, почти все аббревиатуры, встречающиеся в периодической печати, представляли собой соответствующие кальки русского языка. Напр.: *А.М.И. Комитәси* 'ЦИК Азербайджана', *Умум Иттифаг М.И. Комитәси* 'Всесоюзный ЦИК', *А.К.Ф.//А.К.Ф.-си* 'Азербайджанская Коммунистическая партия', *А.Л.К.Ж.И.* 'АЛКСМ' и т. п.

Подобные сокращения долгое время носили характер графических аббревиатур и не смогли полностью лексикализироваться; в подобных единицах после каждого сокращенного компонента ставилась точка, что создавало препятствие при переходе сокращения в аббревиатуру, т. е. в самостоятельное слово.

В 20-х годах некоторые русские аббревиатуры проникли в азербайджанский язык как готовые лексические единицы: *ликбез, рабфак, колхоз, совхоз, комсомол, совнарком, коммунхоз, ЦК, ГОЭЛРО*. Рассматривая подобные сложносокращенные основы, Е. Д. Поливанов отмечал, что слова типа *совдеп, совнарком* и другие национальными языками воспринимаются не как словообразовательный рецепт, они заимствуются именно как данные русские сокращения: производство же своих аббревиатур по подобию русских нормально отсутствует [3. С. 201].

Если отсутствие заглавных букв в арабской графике сводило на нет важнейшее условие аббревиации, то переход азербайджанского письма на латинский алфавит создал соответствующие предпосылки для формирования в азербайджанском языке сложносокращенного словообра-

зования. В этот период характерным было употребление в готовом виде главным образом аббревиатур русского языка или дословный перевод их на азербайджанский язык. Аббревиация еще не смогла приобрести автономность в системе словообразования, это был период колебания, и число аббревиатурных лексем было слишком мало. Напр. АПЧЧ — Общество азербайджанских пролетарских писателей, АССР — Азербайджанская Советская Социалистическая Республика, ХХТШ — Народно-хозяйственный совет, ХДИК — Народный комиссариат внутренних дел, Азэркино — Азеркино и т. д.

Расширение книгоиздательства способствовало распространению сложносокращенных слов. Достаточно сказать, что в библиографическом указателе, составленном в 1932 г. Азербайджанской государственной книжной палатой, было представлено множество сложносокращенных слов типа АзАИШӘ (Азэрбајчан Али Игтисади Шурасы Әхбары) — «Известия Азербайджанского высшего экономического совета», БШӘ (Бақы шурасы әхбары) — «Известия Бакинского совета», Шер (Шура гурулушу) — «Советский строй» и т. п. Однако их употребление было нестабильным и имело значение только для письма.

Внутренние возможности азербайджанского языка в плане аббревиации получили реальное выражение лишь после перехода на новый алфавит — кириллицу. А в последующие десятилетия сложносокращенное словопроизводство в системе азербайджанского языка окончательно утвердилось и приобрело статус самостоятельного процесса в системе словообразования. Исследования показывают, что в настоящее время азербайджанский язык по количеству аббревиатур, употребляемых в текстах общественно-политического содержания, занимает одно из первых мест среди тюркских языков. Например, если из каждых 1 000 общественно-политических терминов аббревиатуру составляют в среднем в казахском языке 18,9, русском — 20, киргизском — 20,7, каракалпакском — 24, туркменском — 24,5, узбекском — 25,4, то в азербайджанском языке — 26,6 единиц; [4. С. 86—87].

Не всякая сокращенная единица является словом. Сокращенное слово должно отвечать четырем требованиям: а) обладать особой формой произношения; б) иметь соответствующую орфографию; в) служить основой для производных слов; г) иметь особое стилистико-семантическое содержание [5. С. 104—105].

Лексические сокращения — это слова, которые временами обладают особой фонетико-орфографической формой, существуют в языке наряду со своими аббревиантами, являясь синонимичными им, и обладают теми же правами. Иногда они употребляются чаще своих аббревиантов, обогащая тем самым словарный состав.

В современном азербайджанском языке самые простые аббревиатуры — это сокращенные слова, которые образуются путем аббревиации функционирующих в языке простых или сложных слов. Как отмечает М. М. Сегаль, сокращенное слово выступает как вариант своего прототипа (т. е. полного слова) в момент своего появления. Со временем сокращенное слово перестает быть стилистическим вариантом своего прототипа и приобретает статус самостоятельного слова [6. С. 276].

В азербайджанском языке имеются три типа сокращенных слов, среди которых особое распространение получила *суспенсия* (ее иногда называют и финальным сокращением). При этом типе сокращается та последняя часть слова, которая малоинформативна и свободно может быть охвачена содержанием начальной части. Напр.: фотография — *фото*, метрополитен — *метро*, килограмм — *кило*, автомобиль — *авто*, кинематография — *кино*, таксомотор — *такси*, телеграм — *тел*, сантиметр

— *сантим*, фамилија — *фамил* и т. п. Сокращение типа суспенсии получило особое распространение в антропонимической системе языка, например: Мехрибан — *Мехри*, Күлнара — *Күлја*, Ибраһим — *Ибиш*, Мәһәммәд — *Мәмиш*. Сәдагәт—*Сада*, Фәридә — *Фәриш* и т. п. Встречаются случаи, когда сокращенные варианты имен получают официальный статус. Например: Кәриш, Ибиш, Ема, Нүсү, Зејнал, Шәмси, Әбдул, Мәһи, Мири, Нуруш и т. п. [7].

Второй тип сокращенных слов — это *контактурные слова*. Из середины лексической единицы исключается определенная часть, опущение которой не влияет на полноту ее информативности. Таким образом объединяются начало и конец слова. Контактуры чаще всего встречаются в собственных именах, например: Мәһәммәд—*Мәммәд*, Елмира—*Ема*, Земфира — *Зема*, Сәләһәддин—*Саладдин* и т. п.

Среди антропонимических сокращений азербайджанского языка имеются и такие, в которых редуцируются начальные части слова. Такие сокращенные имена употребляются в разговорной речи: Земфира — *Фира*, Күлназ — *Наза*, Елеонора—*Нора*, Есмира — *Мира*, Күлара—*Лара*, Шәмсәддин//Әләддин//Сәдрәддин—*Әддин* и т. п. Указанные выше два типа сокращений пока не выходят за пределы антропонимической системы азербайджанского языка.

В системе словообразования современного азербайджанского литературного языка наиболее распространенным типом сокращений следует считать *инициальное сокращение*. Образование инициалов восходит к глубокой древности. Лексические инициалы получили наибольшее распространение в современном азербайджанском языке.

Сокращенные слова, формирующиеся в процессе сложной аббревиации в виде инициалов, будучи лексической единицей, по своей структуре входят в состав простых слов. Начальные буквы или названия букв имен, состоящих из ряда слов в виде синтаксических словосочетаний и терминов, выражающих дефинитивное значение, объединяются, и образуемый в результате фонетический состав формируется как самостоятельная лексическая единица. Подобные единицы произносятся под одним ударением, и постепенно переходит во второй план факт о том, что каждый фонетический компонент в них представляет инициал самостоятельного слова.

Такая единица в общем виде называется инициалом.

Инициалы имеют ряд положительных и отрицательных сторон. Экономия телеэнергии носителями языка и требования лаконизма, вызванные самой системой языка, делают необходимым и актуальным применение такого типа аббревиатуры. С другой стороны, внутренний смысл ряда из них не всегда ясен носителям языка, поэтому частотность их употребления в разговорной речи ослабевает, и тем самым инициалы не выполняют функцию лексической единицы языка. В этом случае необходимо отметить и роль экстралингвистических факторов.

В административно-экономической системе Азербайджана созданы многочисленные институты, объединения, организации. Названия их в виде аббревиатуры получили широкое распространение. Подобные инициальные аббревиатуры могут быть квалифицированы как лексические единицы. Любому носителю языка ясно, что инициалы БМТ, ССРИ, СИТА, ОМИК, АДУ репрезентируют Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилаты, Совет Сосиалист Республикалары Иттифагы, Совет Иттифагы Телеграф Акентлији, Орду Мәркәзи Идман Клубу и Азәрбајчан Дөвләт Университети. Подобные аббревиатуры вытесняют из употребления их эквиваленты и благодаря частому употреблению в разговорной речи

и письменном языке обретают статус самостоятельных слов. Для мотивации же ряда инициалов—имен требуется определенное время. За этот период инициал постепенно используется в виде аббревиатуры и лексикализуется.

Было время, когда инициальные аббревиатуры носили только графический характер, поэтому после каждого их элемента ставилась точка. Например, в 20—30-х годах, когда сокращенные слова в азербайджанском языке создавались путем калькирования, такие инициалы, как С. Ш. Ч. И. (Сосиалист Шура Чумһуријјэтләри Иттифагы) «СССР», А. С. Ш. Ч. (Азәрбајҹан Сосиалист Шуралар Чумһуријјәти) «Аз.ССР», А.Л.К.К.И. (Азәрбајҹан Ленин Коммунист Кәнчләр Иттифагы) «АЛКСМ», А.К.Ф. (Азәрбајҹан Коммунист Фиргәси) «Аз.КП» получили широкое распространение. Поставленные после каждой буквы точки свидетельствовали о том, что эти сокращения еще не сформировались в самостоятельные слова. Подобное положение продолжалось до 50-х годов. В 60-х годах, когда было высказано окончательное мнение о том, что наличие точек после инициалов в сложносокращенных единицах научно необоснованно, подобные аббревиатуры стали рассматриваться как самостоятельные лексические единицы.

В соответствии со структурно-фонетическими особенностями можно выделить три группы инициалов:

1. *Буквенные инициалы.* Такие аббревиатуры состоят исключительно из согласных. Напр.: БМТ (Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилаты) «Организация Объединенных Наций», КТН (Кәнд Тәсәррүфаты Назирлији) «Министерство сельского хозяйства», ФЗШМ (Фабрик-Завод Шакирдлији мәктәби) «Школа фабрично-заводского ученичества», ХТНС (Халг Тәсәррүфаты Наилијјәтләри Сәркиси) «Выставка достижений народного хозяйства» и т. п. В соответствии с общими правилами орфоэпии в процессе произношения буквенных инициалов учитывается название букв алфавита: БМТ—Бе-эМ-Те, КТН — Ка-Те-еН, СН — еС-еН, ФЗШМ — еФ-Зе-Ше-еМ, ХТНС—Хе-Те-еН-еС и т. п.

Однако в азербайджанском языке орфоэпические нормы буквенных инициалов до сих пор не установлены, и в произношении аббревиатур существует определенный разнобой: так, например, в просторечном произношении после каждой согласной произносится «ы» и тем самым нарушается унификация произносительных норм, снижается культура речи. В связи с тем, что в аналогичных сокращенных словах буквы произносятся по их названиям в алфавите, подобные инициалы называются также «алфабетизмами» [8. С. 10].

2. *Звуковые инициалы* в общем языкознании иногда носят название *акронимов*. С точки зрения орфоэпии акронимы не отличаются от других слов языка, они читаются так же, как пишутся, и потому относительно легко входят в словарный состав языка. В отличие от алфабетизмов, в акронимах наряду с согласными выступают и гласные, причем они чередуются. Напр.: АДУ «Азербайджанский государственный университет» (ср. с обычным словом *аһу*), АПИ «Азербайджанский педагогический институт» (ср.: *ани*), СИТА «ТАСС» (ср.: *бина*), ОМИК «ЦСКА» (ср.: *ашыг, озан*) и т. п.

Относительно легкое произношение акронимов, их сходство с другими словами обеспечивают их широкое распространение среди носителей языка, отпадает необходимость в произношении всех компонентов сложного слова-термина.

3. *Смешанные инициалы* состоят из комбинаций букв и звуков. Элементы алфабетизма смешанных инициалов состоят из буквенных инициалов, акронимически же их части состоят из названий букв. При

этом они произносятся под одним ударением. Напр.: ОАДКЈЧ—ОАДКа Је-Че «ДОСААФ», ВВАГ — Ве-ВАГ «ЗАГС» и т. п.

В связи с тем, что произносительные нормы смешанных инициалов также окончательно не уточнены, их пока не включают в орфоэпические словари. Тем не менее как слова со специфической структурой эти инициалы принимают определенное участие в обогащении словарного состава языка.

Среди сложносокращенных слов слоговые аббревиатуры выделяются «прозрачностью» своей внутренней формы. Подобные единицы образуются путем сочетания начальных слогов, непосредственно составляющих терминологические словосочетания компонентов.

В азербайджанском языке в соответствии с техникой аббревиации слоговые аббревиатуры делятся на две группы:

1. *Полные сокращения.* В эту группу входят сокращения, где все компоненты сочетания претерпевают соответствующую аббревиацию. Напр.: *партком* (партија комитэси) 'партком', *ичраком* (ичрайјэ комитэси) 'исполком', *райшраком* (рајон ичрайјэ комитэси) 'райисполком', *нэшрком* (нэшријат комитэси) 'комиздат', *филфак* (филолокија факүлтэси) 'филфак', *диамат* (диалектик материализм) 'диамат' и т. п.

В азербайджанском языке имеются различные варианты полных сокращений:

а) иногда полное сокращение образуется путем слияния начального слога первого компонента и последней части второго компонента словосочетания, в результате чего получаются *телескопические слова*. В азербайджанском языке и термин *телескопические слова*, и соответствующие аббревиатуры заимствуются из русского языка. Напр.: *мопед* (мо+торлу велоси+пед) 'мопед', *магнетрон* (магн+итли е+лек+трон) 'магнетрон', *мотел* (мот+орлу хо+тел) 'мотель', *бионика* (био+локија электро+ника) 'бионика' и т. п.

Количество телескопических слов в азербайджанском языке невелико, но исследование их структуры и путей образования необходимо для дальнейшего применения их в терминологической системе языка;

б) наиболее широкое распространение среди сложносокращенных слов азербайджанского языка получили *полные суспензии*. К ним относятся сложносокращенные слова, образованные путем слияния первых слогов компонентов словосочетаний: *рајком*, *партком*, *нэшрком* и т. п.

2. *Неполные сокращения.* В эту группу входят сокращения, в которых соответствующую аббревиацию претерпевает только часть компонентов терминологического словосочетания, основа же одного или более компонентов употребляется полностью: *партбүро* (партија бүросу) 'партбюро', *партбилет* (партија билети) 'партбилет', *райсовет* (рајон совети) 'райсовет', *сосјарыш* (социализм јарышы) 'соцсоревнование', *педмәктәб* (педагожи мәктәб) 'педшкола', *санэпидстансија* (санитарија епидемиолокија стансијасы) 'санэпидстанция' и др. Сложносокращенные слова, получившие широкое распространение в современном азербайджанском языке, называются *смешанными* аббревиатурами. Подобные единицы состоят из комбинаций слоговых аббревиатур и инициалов. На современном этапе развития азербайджанского языка в смешанных аббревиатурах после компонента, выраженного слоговой аббревиатурой, ставится точка. Напр.: Сов. ИКП 'КПСС'; Азәр.ТА (Азәрбајчан Телеграф Ајентлији) 'АзТАг'; АЗПИ (Азәрбајчан Политехник Институту) 'Азербайджанский политехнический институт'. В некоторых же случаях данный компонент пишется без точки: ЗаһЕС, ҚамАЗ, АЗНКИ, БашЕШ, ЈерАЗ и т. п.

Употребление точки после первого компонента в смешанных аббревиатурах показывает, что подобные сложносокращенные слова не формировались как лексические единицы. Унификация орфографии смешанных аббревиатур ставит перед языковедами задачу элиминации точки после первого компонента.

Исследования явлений аббревиации в различных языках мира свидетельствуют о том, что смешанные аббревиатуры относятся к разряду лексических единиц, активно участвующих в обогащении словарного состава и лексического фонда языка.

Ультрааббревиатуры. Основу этой группы сложносокращенных слов составляют единицы, образованные путем аббревиации имен (в основном эргонимов), выраженных осложненными словосочетаниями. В процессе ультрааббревиации, прежде всего, целиком сокращается большинство компонентов поликомпонентных словосочетаний, оставшиеся же два-три компонента претерпевают аббревиации. Напр.: Азербайжан (Дөвлэт) Нәшријјаты — *Азәрнәшр* 'Азериздат', Азербайжан (Дөвлэт) Нефт (Сәнајеси) Бирлији — *Азәрнефт* 'Азнефть', Азербайжан (Истехлак Чәмијјәтләри) Иттифагы — *Азәриттифаг* 'Азерсоюз' и т. д. В азербайджанском языке встречаются и союзные инициалы: *М вә КСН* — Мешә вә Кимја Сәнајеси Назирлији 'Министерство лесной и химической промышленности', *М вә ИП* — Мәдәнијјәт вә Истирахәт Паркы 'Парк культуры и отдыха' и т. п. [9].

В разговорной речи азербайджанцев встречается множество аббревиатур, большинство из которых имеет русское происхождение. Дело иногда доходит до того, что вместо весьма удачных исконно азербайджанских аббревиатур типа СЭДМ, УЙЛККМ, УИНИМШ, ОАДКЈЧ, ЭМН, ДАМ в устной речи чаще всего употребляются их соответствующие русские варианты: ОБХСС, ВЛКСМ, ВЦСПС, ДОСААФ, ГТО, ГАИ. Однако эти аббревиатуры в системе азербайджанского языка являются «варваризмами» и служат тем самым распространению макаронических оборотов, ибо большинство из них не входит в словарный состав азербайджанского языка.

Состав аббревиатур в азербайджанском языке генеалогически разнообразен. *Национальных аббревиатур* здесь намного больше, чем в других тюркских языках.

Исследователи подсчитали, что только 8,3% всех аббревиатур казахского, 11,3% узбекского языков относятся к национальным. В азербайджанском же языке они составляют 16,4%. Следовательно, 83,6% всех аббревиатур в азербайджанском языке относятся к заимствованным, или интернациональным аббревиатурам [4. С. 86—87].

В азербайджанском языке имеются многочисленные аббревиатуры, заимствованные из русского языка. Все они, как и интернациональные аббревиатуры, в системе азербайджанской аббревиатуры теряют сущность аббревиации. Аббревиатуры типа *колхоз, совхоз, комсомол, коммунхоз, самбо, загс, сојузпечат* в азербайджанском литературном языке употребляются как простые слова, ибо не все варианты их компонентов распространены как самостоятельные слова.

Определенную часть сложносокращенных слов в азербайджанском языке составляют *интернациональные аббревиатуры*: ЮНЕСКО/ЮНЕСКО, ФРЕЛИМО/ФРЕЛИМО, Чана/Чана, ДЕФА, ТУЛ, ПАП, ФИФА, УЕФА, АИБА, ФИДЕ, НАТО и т. п. Как видно, эти аббревиатуры на азербайджанский язык не переводятся и не калькируются. Они получили широкое распространение в азербайджанском языке и должны, на наш взгляд, найти отражение в существующих словарях.

В системе аббревиации языка немаловажную роль играют и номен-

клатурные названия машин и оборудования. Квалифицируемые в науке о языке как производственная лексика, они получили особое развитие в эпоху научно-технической революции.

До сих пор не исследованы производственная лексика и научный стиль азербайджанского языка. Лексика, отражающая современные научно-технические реалии в национальном языке, в своем составе имеет много образцов билингвизма и полилингвизма. Подобная научно-производственная лексика, получившая широкое распространение, разумеется, способствует обогащению словарного состава языка.

Номенклатурные названия различных приборов и аппаратов играют своеобразную роль в формировании терминологической системы литературного языка.

Номенклатуры представляют особый интерес как комплексная номинация, ибо «номенклатурные имена очень трудно произносятся и становятся своеобразной загадкой. Например, кому могут быть понятны такие номенклатурные названия: X17H1OM5AзT2ФУБФ или АКСРГБ» [10. С. 222]? Подобные номенклатуры вообще не употребляются в устной речи, не выступают в функции лексической единицы.

Таким образом, наряду с номенклатурами, состоящими из сложения букв и цифр, не создающих лексического комплекса, возникает необходимость в общеупотребительных наименованиях. Однако «между общим наименованием, данным какому-либо предмету, и терминологическим его названием имеются определенные различия» [10. С. 223]. В целях ликвидации этих различий формируются имена третьего типа. Например, «Жигули» — это марка автомашины, номенклатура ее — ВАЗ-2106; «Жигули» занимают промежуточное положение между маркой и номенклатурой, выражая в языке и марку, и в сокращенном виде номенклатуру. «Жигули» — это имя, значит, не термин, ВАЗ-2106 является уже обособившимся, точно выражающим понятие, имеющим дефинитивное значение, иначе говоря, приобретающим особое содержание техническим термином.

В этом плане приобретают важное значение исследования номенклатурных наименований постоянно увеличивающихся и непрерывно усовершенствуемых видов техники, особенно электронно-вычислительной.

В лексическом пласте азербайджанского литературного языка, охватывающем электронно-вычислительную технику, аббревиатуры стали стилистической нормой. Наблюдения показывают, что чаще всего номен в виде аббревиатуры употребляется совместно с термином как словосочетание, при этом они удачно дополняют друг друга, образуя комплексную номинацию. Напр.: *1501 фотоохума механизми* [11], *САР автоматик һесаблама машыны*, *ВК-1 кичик һесаблама машыны*, *ВК-2 кичик жарымавтомат һесаблама машыны*, *ВК автоматик һесаблама машыны* и т. п.

Привлекают особое внимание своей оригинальностью наименования систем современной вычислительной техники, различных языков, применяемых в вычислительных машинах, и т. п. Названия алгоритмического языка типа АЛГОЛ, ФОРТРАН, АЛГАМС, ДЖОВИУ, ПЛ-1, АЛГЭМ, АЛГЭК, КОБОЛ, ТОБСОЛ, РПГ, КОМИТ, ИМЛ, ЛИСП, СНОБОЛ, АРТ, СИМУЛА, СИМСКРИПТ, АССЕМБЛЕР, название кодов ДКОИ и ЕВСДС, МИТ (мәркәзи идарә гурғусу), ЫМГ (һесабмәнтиг гурғусу), ПИП (профессор идарә пулту), СК (селектор каналы), МК (мультиплекс каналы), ОС-10 «ЕС эмәлијјат системи», МОС/ЕС «кичик эмәлијјат системи», ДОС/ЕС «диск эмәлијјат системи» и т. п. тер-

мины образовались тем или иным способом аббревиации и широко применяются в лексике, связанной с ЭВМ.

Можно сделать вывод, что суспенсия, все типы инициальных сокращений, слоговые аббревиатуры и номенклатурные названия имеют большое значение для развития и обогащения словарного состава азербайджанского языка. Многие из них окончательно вошли в ткань языка и, как и все остальные номинативные слова, принимают словообразующие и словоизменительные аффиксы.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. См.: *Казем-бек*. Грамматика турецко-татарского языка. Казань, 1839.
2. *Адилов М. М.* Мүасир Азербайжан дилинде абрeвиасија: Нам. дисс. Бақы, 1986.
3. См.: *Поливанов Е. Д.* Революция и литературные языки Союза ССР: Статьи по общему языкознанию. М., 1968.
4. *Могилевский Р. И., Аликулов З. А.* К вопросу о возникновении и функционировании аббревиатур в тюркских языках народов СССР//В кн.: Вопросы востоковедения: Тр./Самарканд. госуниверситет. Самарканд, 1976. Вып. 279.
5. *Алексеев Д. П.* Сокращенные слова в русском языке. Саратов, 1979.
6. См.: *Сегаль М. М.* Аббревиатуры в современном английском языке//В кн.: Вопросы английской филологии. Л.: ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1962.
7. *Абдуллаев Б. А.* Азербайжан шәхс адларынын изаһлы дүғәти. Бақы, 1985.
8. См.: *Лашкова Г. В.* Аббревиация как один из способов пополнения терминологического фонда современных языков. Саратов, 1983.
9. См.: *Абдуллаев Б.* Азербайжан дилинин гыса ихтисарлар дүғәти. Бақы. 1968.
10. *Вердијева З., Агајева Ф., Адилов М.* Азербайжан дилинин семасиолокијасы. Бақы: Маариф, 1979.
11. *Әлиев Н., Тагыјева В., Кузмина-Жеғасимова В.* «Наири-2» ЕҢМ-дә програмлашдырманнп элементләри. Бақы: АПИ нәшри, 1980.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Х. С. ДЖАНИБЕКОВ, А. А. ЧЕЧЕНОВ

О ТЕМПОРАЛЬНЫХ, АСПЕКТОЛОГИЧЕСКИХ И МОДАЛЬНЫХ ПРИЗНАКАХ ФОРМ ПРОШЕДШЕГО НЕОЧЕВИДНОГО ВРЕМЕНИ ИНДИКАТИВА КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОГО ГЛАГОЛА (ФОРМА ТИПА КЕЛГЕНДИ)

Лингвистическая интерпретация и теоретическая дефиниция данной формы, отражавшие не только различие подходов к ее грамматической семантике, но и расхождение точек зрения на категорию очевидности—неочевидности в целом, претерпели известную необходимую эволюцию в сторону признания реального статуса тех моментов в содержательной стороне данного явления, которые ранее казались альтернативными [1. С. 156—159; 2. С. 138—151]. Установление в ее категориальной семантике двух совмещенных значений [3. С. 17] («перфективности» и «неочевидности»), связанное с признанием релевантной грамматической значимости модально-коммуникативной категории очевидности—неочевидности прошедшего действия [4. С. 194—203; 5], способствовало разграничению принципиально разноуровневых ролей причастной формы на *-гъан* 1) как основы морфологической временной формы неочевидного употребления и 2) как синтаксической функциональной формы именного употребления. В большинстве работ теоретического и прикладного характера указывается на «перфективную» и «неочевидную» специфику этой формы [7. С. 222] при ее терминологической отмеченности как «прошедшее неопределенное» [8. С. 369; 9. С. 143], или «прошедшее 2-е» [3. С. 17; 10. С. 152]. Исходя из этого, к конкретным, индивидуальным случаям употребления рассматриваемых временных форм в речи необходимо подходить как к системной совокупности частных (реальных) проявлений их сущностных свойств.

1. Основные случаи употребления неочевидного прошедшего в карачаево-балкарском языке. В отличие от других тюркских языков, где прошедшее время на *-гъан* в 3 л. может выступать без личных аффиксов [8. С. 371], а иногда без аффиксов во всех трех лицах единственного и множественного числа [11. С. 73—74; 10. С. 152], для современного карачаево-балкарского языка характерна полная аффиксальная оформленность всей парадигмы, ибо типология семантической системы языка предусматривает в выражении грамматической темпоральной семы, в данном случае претеритальности, обязательное участие глагольной основы — причастия и личных аффиксов, например:

мен келген-ме 'я пришел'
сен келген-се 'ты пришел'
ол келген-ди 'он пришел'

биз келген-биз 'мы пришли'
сиз келген-сиз 'вы пришли'
ала келген-диле 'они пришли'.

Примечание. Окказиональное усечение личных аффиксов формы неочевидного прошедшего, как и всякой другой сказуемой

флексии, наблюдается в эффективной детской речи с оттенком нарочитого создания загадочности, сокрытия истинного отношения к предмету разговора. Например: *Сен бу китапны окъугъан?* 'А эту книгу ты читал?' Мен бир зат табхан? 'А я что-то нашел?' и т. п.

Основным идентифицирующим критерием «перфектного» и «неочевидного» употребления формы на *-гъан* в карачаево-балкарском языке служит наличие или отсутствие каузальной связи прошедшего действия с настоящим, а через него — и с будущим. Во всех случаях, когда эта форма употребляется в «контакте» с презентной перспективой, актуализируется перфектное значение, понимаемое не столько как прямой презентный результат прошлого действия, а как прошлое действие, актуальное для настоящего самыми широкими причинно-следственными отношениями, в том числе как частный случай — своим прямым результатом. Открытую цепь причинно-следственных презентных или футуральных действий, относящихся к реальной, потенциальной, волеизъявительной модальностям или к аспектам утверждения или отрицания, можно условно представить в следующем примере: Мен тенгеме письмо джазгъанма: → Письмо джазылыбды → письмо хазырды → письму джиберирге керекди → тенгиме письму аллыкды → мени джазгъаным окъурукду → хапар билликди → къууанлыкды манга джууаб къайтарлыкды и т. д. 'Я написал другу письмо': → письмо написано → письмо готово → письмо надо отправить → друг получит письмо → он прочтет, что я написал → узнает → будет радоваться → ответит мне' и т. д. При этом неочевидное прошедшее может выступать как причинной единицей, что чаще имеет место, так и следствием другого (каузального) действия, например: а) неочевидное прошедшее — причинная единица: а + кеч болгъанды, кетейик 'Уже поздно, пойдем'; Кюн батханды, чыкъ тюшеди 'Солнце зашло, падает роса'; Алий институтха тюшгенди, окъургъа барлыкды 'Али поступил в институт, поедет учиться' и т. д.; б) неочевидное прошедшее — следственная единица: Биз бюгюн классыбызны джасагъанбыз, къонакъла чакъырлыкбыз 'Сегодня мы празднично убрали наш класс, будем приглашать гостей'; Роза слетха кетгенди, ише алчыды 'Роза поехала на слет, она передовик'. Из всего глобального диапазона «каузального» с настоящим временем употребления формы на *-гъан* ее перфективное значение актуализируется в том случае, когда презентным следствием является прямой результат прошедшего действия, например: Юй ариу ишленгенди 'Дом построен красиво'; Чепкен тап тигилгенди 'Платье сшито хорошо'; Къалай уллу болгъанса! 'Какой ты стал большой!' и др.

Результативное значение неочевидного прошедшего в тексте идентифицируется: 1) возможностью презентной дистрибуции неочевидного прошедшего действия с темпоральными квалификаторами настоящего (бюгюн 'сегодня', бусагъатда 'сейчас', энди 'теперь', эртдеден бери 'уже', бюгюнлюкде 'ныне' и т. д. + джашау тюрленгенди 'жизнь изменилась (=уже иная)'); 2) возможностью аспектологической дистрибуции неочевидного прошедшего и количественно-качественных статических компонентов действия (бек, къаты 'крепко', къымылдамаздан 'неподвижно' + къысылгъанды 'связан'); 3) возможностью дистрибуции неочевидного прошедшего с лексемами оценочной модальности как выражителями статических признаков (ариу 'красиво', сейирлик 'чудесно', аламат 'прекрасно' + кийингенсе 'одета ты', 'оделась'); 4) возможностью темпоральной субституции неочевидного прошедшего презентным стативом при одном и том же глаголе: сабий уянгъанды (=уяныбды) 'ребенок проснулся'; ат джерленгенди (=джерленибди) 'конь уже оседлан'; телевизор къурулгъанды (=къурулубду) 'телевизор включен' и т. д.;

5) возможностью результативно-презентной перспективы неочевидного прошедшего, которая однозначно эксплицируется при употреблении с глаголами начинательного вида и довольно регулярно переводится на русский (немецкий) язык презенсом, например: Джауа башлагъанды 'Начинается дождь'; Джауб тебрегенди 'Уже начался (идет) дождь'; Танг джарый башлагъанды 'Уже светает...'

В других (нерезультативных) случаях перфектного неочевидного прошедшего его аспектологические характеристики, как и в сфере его неочевидного употребления, остаются недифференцированными и потому конкретизируются контекстом или ситуацией.

В сфере перфектно-каузальных с настоящим временем функций формы на *-гъан* имеет место выражение целого ряда модально-стилистических и эмоционально-экспрессивных индивидуальных оттенков действия, которые не свойственны его неочевидному употреблению:

1) имя- действие на *-гъан* может квалифицироваться как позитивный или, наоборот, негативный признак, свойство, характеристика субъекта, например: Ой ол адам бир кеб китаб окъугъанды 'Этот человек читал так много книг!' Критерием идентификации данного случая является возможность трансформации глагольной фразы в атрибутивную конструкцию: Ой ол бир кеб китаб окъугъан адамды (досл.: 'Ух, он много книг читавший человек есть');

2) действие на *-гъан* может выражать одобрение, порицание, удовлетворение говорящего лица: Иги этгенсе келгенинги 'Хорошо сделал, что приехал'; Ишни кереклисича тындыралмагъанса 'Тебе не удалось завершить дело как положено';

3) действие на *-гъан* может выражать гиперболизированное или абсолютизированное утверждение о факте как общезначимом явлении: Емюрюмде эшитмегенме ол затыны 'На своем веку не слыхивал подобного'; Не заманда да болуб келгенди ол адет 'Во все времена бытует (бытовал) этот обычай';

4) действие на *-гъан* может выступать как заслуга, достижение, приписываемое субъекту: Биз кемеге да мингенбиз 'А мы и на пароход садились'; Телескоп бла да къарагъанбыз 'Мы и в телескоп смотрели';

5) действие на *-гъан* может выступать с «драматизирующим» оттенком, выражая факт, чреватый последствиями в положительном или отрицательном смысле: Сууукъду, джукъа кийиниб *келгенсе*, юшюсен! къалай этериксе! 'Холодно, а ты одет легко, а что если замерзнешь!?' Особенно заметно этот оттенок проявляется при видовых глаголах с завершительным (финальным) значением, у которых каждый компонент оформляется в неочевидном прошедшем синтаксически самостоятельно, создавая двойную экспрессию, например: Сют ачыгъанды да къалгъанды '(Вот досада) молоко прокисло'. Пестрый эмоционально-стилистический спектр неочевидного перфектного прошедшего говорит в пользу той особенности данной временной формы, когда при сближении и связанности с планом настоящего ее эмотивная насыщенность возрастает, а при дистанцировании с ним, т. е. в сфере неочевидного употребления, разнообразие эмоционально-экспрессивных оттенков снимается, уступая место общей модальной семе неочевидности и «беспристрастности» действия. Тем самым форма неочевидного прошедшего времени внутри индикативной модальности занимает двойственное положение: с одной стороны, как прошедшее время, связанное с настоящим причинно-следственными отношениями, она (наряду с формой первого очевидного законченного и презентными формами) находится в ядре индикативной модальности, составляет его сильное звено, с другой — как прошедшее неочевидное она выходит на периферию системы

индикативных форм и сближается с предположительной (гипотетической) модальностью. Эта модальная двойственность неочевидного прошедшего своеобразно проявляется в том специфическом случае его употребления, в котором с разных модальных плоскостей синтезировано участвуют оба значения формы — и перфектное, и неочевидное, например: Тюнене ишге бара тургъанлайыма, джетгенди биреулен ызымдан; кьолуму тутханды да саулукъ — эсенлик соргъанды, сора таныялмагъанымы сезгенди да ышаргъанды. Иги кюрешиб, эсиме тюшюргенме. Ол'а Хаджини джашы Ахмат 'Иду я вчера на работу, догоняет меня кто-то, здороваается со мной за руку, спрашивает о здоровье, о делах, затем видит, что я не узнал его, улыбается. Напрягаю память и вспоминаю — это же Ахмат, сын Хаджи'.

Действие логически и фактически очевидно, говорящий видел, воспринимал и был его участником. Нормативно план выражения предполагает использование очевидных форм, но действие представлено в форме на -гъан, которая является синтагматическим функциональным синонимом первых. Модально-стилистический эффект такого употребления неочевидного прошедшего заключается в выражении неожиданности и непредвиденности действия, а также в создании панорамности и замедленности его развертывания, каждое последующее звено которого неизвестно и непредсказуемо. Функционально этот случай сближается с историческим презенсом. Взаимодействие темпорально-аспектологической семы «перфектности» и модальной семы неочевидности обнаруживается также и при употреблении неочевидного прошедшего для выражения условно-прошедшего действия, которое имеет мнимореальный, вымышленный характер, например: Соргъан зат этселе, биз аны кермегенбиз, ангъа тубеменгенбиз, аны бла селешмегинбиз — алай айт: 'Если они гебъа спросят, мы его не видели, мы его не встречали, с ним мы не говорили, — скажешь так'.

При чрезвычайно высокой степени абстрагированности грамматического значения и разнообразии случаев претеритального употребления прошедшее неочевидное в карачаево-балкарском языке не имеет переносных (транспонированных) функций презентного, футурального или императивного употребления, что в значительной мере объяснимо его причинно-следственной обращенностью к данным плоскостям, сопровождаемой волюнтаривной коннотацией, а также его «привязанностью» к общему признаку неочевидности прошлого действия.

2. Основные случаи употребления очевидных прошедших времен.

1. *Первое очевидное законченное (форма типа келди)*. Как известно, данная форма является древнейшим и общим грамматическим временем для всех тюркских языков [8. С. 366, 367; 11. С. 67; 9. С. 137 и др.]. Его терминологические дефиниции в тюркологии отражают в основном набор грамматических сем и в принципе не противоречат друг другу '«прошедшее определенное»' [6. С. 278], «прошедшее совершенное» [12. С. 117], «прошедшее законченное», или «прошедшее категорическое» [1. С. 140], «недавно прошедшее (окончательное) время» [13. С. 343], «форма прошедшего времени 1-я» [14. С. 90], «прошедшее категорическое (или очевидное)» [7. С. 218], «прошедшее очевидное время» [4. С. 194] и др.). В работах по карачаево-балкарскому языку первое очевидное законченное фигурирует как «прошедшее категорическое время» [9. С. 137]. Основными семами в значении данной формы являются очевидность, законченность и недавность [13. С. 343] прошедшего действия. Инвариантная сема очевидности предполагает, в свою очередь, определенность и достоверность действия. Взаимодействие этих сем создает категорический характер действия, на котором базиру-

ется высокая эмоционально-экспрессивная насыщенность высказывания в первом очевидном законченном. С другой стороны, в силу очевидного, законченного и реализованного характера в непосредственно примыкающем к настоящему моменту прошлом форма первого очевидного прошлого связана с понятием конкретного (а не с понятием абстрактного и отвлеченного в плоскости прошлого) действия. Этим моментом и объяснимы такие интерпретационные уточнения инварианта ее значения, как «достоверность» или «объективность» действия. С аспектологической точки зрения, очевидное первое является лично-грамматической, морфологической формой выражения законченности глагольного действия. Другое толкование противоречило бы системной корреляции и противопоставленности грамматических прошедших времен по категориальной выраженности как определенности, так и законченности действия. Специфической особенностью семы законченности в этой форме является не ее совпадение или несовпадение с совершенным видом русского глагола, а системное внутриязыковое типологическое свойство, которое выражается в совмещенности и взаимодействии законченности и реализованности прошедшего действия. Иными словами, законченность действия в первом очевидном прошедшем выражается через идею полной реализации действия и тем самым оказывается явлением не только грамматико-морфологического, но и предикативно-коммуникативного плана. Если совершенный вид русского глагола указывает на внутренний качественный предел действия и не поддается количественному сжатию или расжатию действия (ср.: «прибыть» долго, много раз, до недели...), то тюркская, в частности карачаево-балкарская, форма *келди* связана с объемным понятием законченности, которое является количественной величиной. Поэтому первое очевидное прошедшее совместимо как со спецификаторами «мгновенности», «точности», так и со спецификаторами кратности, протяженности, но при одном общем условии: если количество и объем действия в абсолютном измерении являются предельно законченными, например: Бусагъатда келди 'Только что прибыл'; Энтда келди 'Еще пришел'; Эки кере келди 'Приходил дважды'; Бир айны ичинде кюн сайны келиб турду 'В течение месяца приходил каждый день'; Бюгюнге дери таймаздан келиб турду 'До нынешнего дня приходил постоянно'; Кеб кере келди 'Приходил много раз'.

Особенно ощутимо сема законченности (предельности) выступает, когда первое очевидное транспонируется в другие темпоральные или модальные плоскости, например:

а) при выражении несомненных, обусловленно проявляемых действий в плоскости общего настоящего: Кече былайда къалады, танг атса уа, учду да кетди 'Ночует здесь, а настает день—мигом улетает';

б) при выражении императивной модальности с ограничительным или запретительным значением: Болдунг энди! 'Ну хватит тебе!'; Къойдукъ аны юсюнден селешгенни! 'Оставим (досл.: оставили) об этом разговор!';

в) при выражении побуждения к совместному действию: Кетдик энди! 'Теперь поехали!'; Турдукъ бусагъат! 'Теперь встали!'; Алдыкъ бирден, башладыкъ ишни! 'Взяли вместе, начали работу!';

г) при выражении несомненности, абсолютной уверенности в реализации предстоящего действия: Тамбла окъуна кетдим 'Завтра же уеду!'; Ма бусагъатдан джетдик 'Скоро доезжаем';

д) при идиоматических или перифрастических оборотах для гиперболического изображения презентного действия как чрезмерного и достигшего возможно мыслимых пределов; действие логического настоя-

шего в форме законченного прошедшего представляется как бы переступившим свои разумные границы и превратившимся в свою иррациональную противоположность, например: Излей-излей тели болдум! 'В поисках потерял я рассудок'; Къарт этдинг бизни кесинги сакъалата 'Ты уже состарил нас, заставляя ждать себя'; Арыб елдюнг, джазыкъ 'Бедняжка, чуть не умираешь от усталости';

е) как и в других тюркских языках, при выражении будущего предупредительного [8. С. 369] с эмоцией тревоги, опасения, страха, что действие произойдет: Иги тут, ийдинг! 'Держи лучше, не то уронишь! (досл.: уронил)'; Басма алай, сындырдынг! 'Не дави так, сломаешь! (досл.: сломал)'. Употребление формы прошедшего в функции будущего как бы опережает и предупреждает [15. С. 193] возможность нежелательного. Вышеотмеченные случаи презентной и футуральной транспозиции первого очевидного прошедшего отличаются высокой экспрессивной насыщенностью, характерной для живой разговорно-бытовой ситуативно соотнесенной речи. Усиление эмотивной нагрузки, создаваемое взаимодействием сем очевидности, недавности и законченности, базируется на синтагматическом нарушении того порядка каузальных связей и последовательностей, которые определяют взаимоотношения между прошедшим очевидным первым, настоящим и будущим в парадигматике. С логической точки зрения, в этой триаде модальных состояний языкового действия исходным моментом является будущее, переходно-промежуточным моментом выступает настоящее, а конечным термином оказывается прошедшее. Отсюда действие в сфере нереализованной (потенциальной, возможной) модальности занимает причинное место по отношению к реализуемой и реализованной модальностям; действие в сфере реализуемой модальности, т. е. в стадии своего осуществления, выступает по отношению к сфере нереализованной модальности как следствие (результат), а по отношению к реализованной модальности — как причина; действие в сфере реализованной модальности (т. е. в сфере прошедшего осуществленного) является следствием (результатом) как по отношению к настоящей (реализуемой), так и по отношению к будущей (нереализованной) стадии. Отсюда если временные формы глагола употребляются в своих основных (категориальных, парадигматических, прямых) значениях с логической референтной соотнесенностью, то в синтагматике они сохраняют свои причинно-следственные позиции в отношении друг к другу и в отношении одного и того же действия без изменения его грамматических признаков (лица, числа, аспекта, залога...); если же временные формы в употреблении подвергаются транспозиции, то это одновременно означает, что в логически последовательной каузальной цепи времени и модальности они поменялись в той или иной степени местами и оказались функционально в противоречии с логикой парадигматических отношений. Таким образом, степень противоречия определяет степень экспрессивности и метафоричности «транспонированного» (переносного) употребления языковой единицы в речи, в данном случае — форм прошедшего времени глагола. Применительно к форме первого очевидного законченного это значит: а) употребление в сфере настоящего (реализуемого) есть замена причинной (презентной) позиции результативной (следственной) единицей, следовательно, алогичный переход (посредством языковой семантики) из сферы нереализованной модальности (т. е. будущего) сразу в сферу реализованной модальности (т. е. в сферу конечного термина); тем самым при презентном употреблении формы «келди» отрицается одна логическая стадия, т. е. реализуемость; б) футуральное употребление (транспози-

ция) первого очевидного законченного прошедшего есть замена исходной причинной позиции (т. е. сферы нереализованности) конечной результативной единицей; тем самым при футуральной функции формы типа «келди» отрицаются обе логически предшествующие причинные стадии (нереализованность и реализованность) и действие представляется без логического развития в виде конечного следственного результата, что удваивает его экспрессивную насыщенность и в таком же соотношении снижает «логический вес» высказывания. Иными словами, переносное употребление первого очевидного прошедшего, которое осуществляется при решающей роли семы «законченности» действия, переносит соответствующее высказывание к эмотивно-чувственной сфере и «удаляет» его от рациональной сферы. По данному параметру семантические особенности неочевидного прошедшего (на *-гъан*) и очевидного первого законченного имеют противоположную направленность.

С формальной стороны, основным маркированным признаком транспонированного первого очевидного прошедшего является самостоятельная оформленность личными аффиксами обоих компонентов видового глагола, например: Биз ангыламасахъ, ол окъуду да берди 'Если мы не пойдем, он нам прочитает'.

Каузальные отношения, проявляющиеся в сфере индикативной модальности, соответствующим образом обнаруживаются и при взаимодействии формы очевидного законченного (как репрезентанта индикативной модальности) с другими грамматическими наклонениями.

В каузальной последовательности компоненты системы наклонений имеют следующее соположение:

причина следствие

условное → желательное → побудительное → изъявительное
--

Изъявительное наклонение является следствием по отношению ко всем остальным наклонениям, а условное наклонение — причиной; желательное-оптативное наклонение есть следствие по отношению к условному, а по отношению к побудительному и изъявительному выступает причиной; побудительное наклонение — причина по отношению к индикативу, а по отношению к оптативу и кондиционалису — следствие.

Отсюда употребление первого очевидного законченного как индикативной единицы в условно-временных придаточных предложениях, а также в побудительной функции является заменой причинных единиц (условных и императивных форм) следственно-результативной единицей. При этом каузальное смещение происходит дважды: во-первых, по нереализованности—реализованности, во-вторых, на уровне грамматических наклонений, например: Алма-Атагъа келсем/келгенлейме бери письмо джазарма 'Если/как только приеду в Алма-Ату, напишу сюда письмо'; Алма-Ата къалай келдим, алай бери письмо джазарма— [досл.] 'Как приехал (я) в Алма-Ату, напишу сюда письмо'.

Общий коммуникативно-стилистический результат этой волюнтаривной замены — представление нереального действия реальным, незавершенного — завершенным, неопределенного — определенным, гипотетического — достоверным и т. п. — связан с экспрессивно-волевым мотивом со стороны говорящего—его желанием, заинтересованностью или стремлением ускорить и приблизить волюнтаривно реализацию действия или представить его как таковое. «Окказионально-волюнтаривный» характер этого явления основан, таким образом, на нарушении согласованности между логикой и языковой семантикой (и соответственно вербальным выражением), на использовании языковой

семантики с целью соотнесения с ней необычной референциальной области экстралингвистической действительности.

Употребление индикативной формы (первого очевидного законченного) вместо сослагательно-условной или императивной форм является смещением результативной единицы на место причинной; тем самым на логически причинной позиции оказывается языковая следственно-результативная единица. Происходит своеобразная, но закономерная контракция высказывания в силу того, что логически предполагаемая языковая причинная единица (в данном случае условная или императивная форма) не упоминается, а непосредственно констатируется результат (индикатив).

В качестве функционально-стилистического синонима очевидных прошедших времен на *-эди* первое очевидное законченное как бы ретроспективно возвращает давнопрошедшие действия в сферу данной речевой ситуации, представляет их развернуто, осязательно и панорамно, т. е. в темпоральной плоскости выступает конечным результативным репрезентантом предпрошедших причинных действий: Къалай бек кюрешдинг сен ол заманда! 'Как сильно старался ты тогда!'

II. *Очевидные времена на -эди*. Подсистема времен на *-эди* формально-парадигматически и функционально-семантически составляет своего рода параллель ко всем остальным временным формам индикатива [16. С. 114—115; 17. С. 205—209].

Таблица 1

Очевидные прошедшие времена на <i>-эди</i>	Прошедшие на <i>-эди</i>	Параллели
давнопрошедшее	келген эди	келгенди—прошедшее неочевидное (келди)
прошедшее незаконченное	келе эди	келеди — настоящее длительное
прошедшее многократное	келиучю эди	келиучюdü — настоящее многократное
будущее прошедшее	келлик эди	келликди — будущее категорическое
потенциальное прошедшее	келир эди	келир — будущее неопределенное

Если принадлежность к разряду давнопрошедших определяется общностью аналитического форманта времени *-эди*, то принадлежность к межтемпоральной параллели — общностью соответствующих основ келген, келе, келиучю, келлик, келир. Формально-структурная общность (в частности, общность основ) предполагает также общность исходных семантических признаков, каковыми являются результативность/законченность, дуративность/продолженность, многократность/обычность, потенциальность/определенность, потенциальность/неопределенность и т. д.

Этот параллелизм временных форм отражает, с одной стороны, темпорально-аспектуальные соотношения между абсолютными («объективными») [16. С. 114] планами прошедшего, настоящего и будущего, т. е. в сфере соотношения форм келгенди (келди)—келеди—келиучюdü келиди—келир, а с другой — указывает на повторяемость (в «суженном» виде) этих соотношений внутри подсистемы очевидных прошед-

ших времен на *-эди*, т. е. в плоскости «объективного прошедшего времени» [16. С. 114]. Поэтому если в первом случае эти соотношения ориентированы на момент высказывания, т. е. собственно, момент настоящего, то во втором случае этим соотносительным или исходным моментом является время восприятия действия, относящееся к прошлому и представленное как сема очевидности.

Формант прошедшего времени *-эди* сильно абстрагирован и объемлен. Наряду с претеритально-темпоральным значением он модально релевантен. Благодаря этому каждое «давнопрошедшее» время может выступать функциональным модально-стилистическим синонимом соответствующей презентно-футуральной параллели как причинная единица вместо результативно-следственной. Такая взаимозамена первично мотивируется признаком давности действия. На его основе возникает вторично модально-стилистический признак дистантности и неактуальности действия, особенно когда оно связано с волеизъявлением, например: Насосну бир бер деб келген эдим (вм. келгенме) 'Я приходил, чтобы попросить у тебя насос'.

В подобном стилистически деактуализирующем употреблении прошедшие очевидные времена на *-эди* оказываются в уступительно-противительной связи с другим действием, например: Чакыргъан а этген эдим, алай, келмеди 'Я-то звал его, но он не пришел'.

Этот вид связи, в противоположность причинно-следственной, указывает на отсутствие логически ожидаемого результата действия, вместо него в выводе утверждается обратное или несоответствующее: Керюрге сие эдик, алай келирге унамайды, не заман табмайды 'Мы бы хотели его видеть, но он никак не приходит или не выберет время'. Через отрицание логического следствия и утверждения и актуализацию противоречащего факта уступительная связь направлена на ослабление «индикативной реальности» и на усиление конъюнктивации действия. Тем самым индикативная модальность наиболее тесно сближается с сослагательно-ирреальной модальностью формами прошедшего очевидного на *-эди*, особенно при наличии уступительно-противительной связи, при этом будущее прошедшее (келлик эди) и потенциальное («регулярное») [9. С. 164] прошедшее (келир эди) в данных коммуникативно-синтаксических условиях оказываются смещенными в сферу сослагательной модальности. Ср.: а) индикативное употребление: Биз алгъа келдик, ол да бир кесекден келлик эди 'Мы прибыли раньше, и он собирается прийти попозже; б) конъюнктивное употребление: Къууаныб да келлик эди, ишинден бошамады ансы 'Он пришел бы с радостью, но не смог освободиться от дел'.

Такой же конъюнктивно-сослагательный вариант употребления обнаруживает и очевидное прошедшее незаконченное, выступая здесь синонимом конъюнктивного будущего прошедшего. Ср.: а) индикативное употребление: Биягъында кердюм, джолда келе эди 'Загодя виделся с ним: он шел по дороге сюда'; б) конъюнктивно-сослагательное употребление: Айтсакъ, огъайы болмай келе эди, айтыргъа унутдукъ да къойдукъ ансы 'Скажи мы ему, он пришел бы не возражая, но совсем забыли ему сказать'. Это позволяет говорить о сложной градации и иерархии взаимозаменяемости и функциональной синонимии временных форм глагола, реализующих в речи свои парадигматические семантические свойства во всем многообразии их проявления. В этой связи особым звеном подсистемы прошедших времен индикатива является прошедшее очевидное многократное [9. С. 162], семантическая специфика которого заключается в выраженности двух совмещенных значений: абстрактно-отвлеченного понятия действия в плоскости про-

шлого и эпизодической повторяемости действия: Алгъын келиучю эди, энди келмейди 'Раньше (бывало) приходил, теперь нет'; Алгъын келмей турмаучан эдинг быллай бир, буджол кеб къалдынг 'Раньше ты столько не отсутствовал (обычно), в этот раз тебя не было долго'. Таким образом, в содержании данной формы выделяются семы: 1) претеритальности; 2) давности; 3) повторяемости; 4) очевидности; 5) реализуемости; 6) незаконченности; 7) абстрактной (отвлеченной) представленности понятия действия. Специфический набор сем предопределяет последующие свойства этой формы; 8) отсутствие конкретной референтной соотнесенности; 9) несовместимость формы с узкими темпоральными ограничителями действия; 10) неподверженность эллипсису. В плане функциональной взаимозаменяемости и синонимии данного очевидного прошедшего времени особенно примечательны два момента: во-первых, как причинная единица оно может выступать стилистическим субститутом соответствующей следственной презентной формы (келиучю эди вм. келиучюдо); во-вторых, оно является стилистическим синонимом и прошедшего очевидного незаконченного (келиучю эди вм. келе эди). Непрерывную длительность и понятие конкретности действия (при «келе эди») заменили прерывность, эпизодичность и отвлеченно-абстрактное понятие действия (при «келиучю эди»). Данный случай транспозиции особенно интересен тем, что сема очевидности при нем выступает «зримо», как бы в собственной сути, без слияния и синтеза с другими семами. Происходит это тогда, когда очевидное многократное употребляется при логически конкретных постоянных, непрерывных действиях, состояниях, признаках, которые являются парадигматически референтами очевидного прошедшего незаконченного. Ср.:

Очевидное прошедшее незаконченное:

Алгъын *былайда* терекле есе эдиле
 'Раньше здесь росли деревья';
 Гитче заманында ол сары шилли эди
 'В детстве он был светлым'.

Очевидное многократное прошедшее:

Алгъын *билыйда* терекле ёскоучен эдиле—
 досл.: 'Раньше здесь (бывало) росли деревья';
 Гитче заманында ол сары шилли болуучан эди—
 досл.: 'В детстве он бывал светлым'.

Возможность грамматико-семантического дробления и сегментации логически нечленимого постоянного действия и есть проявление признака очевидности, ибо кажущаяся повторяемость, фрагментарность, в сущности, относятся не к самому действию (росли, был), они отражают повторяемость, эпизодичность его восприятия, видения говорящим лицом. Таким образом, в формах прошедшего времени находят свое выражение характер восприятия действия субъектом и оно представлено «субъективированно» через его восприятие.

На основании изложенного можно сделать следующие выводы.

Подсистема прошедших времен индикатива карачаево-балкарского глагола отражает как внутриязыковые (уникальные) особенности, так и типологически общетюркские черты; сквозным дифференциальным признаком прошедших времен является модальная категория неочевидности—очевидности прошедшего действия, являющаяся дальнейшим развитием именной и глагольной категорий неопределенности—определенности и отражающая представленность объективного действия

Таблица 2

УСЛОВНАЯ СХЕМА ОСНОВНЫХ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ПРОШЕДШИХ ВРЕМЕН [18. С. 13]

Состав форм	Набор основных сем															
	Темпоральные				Аспектуальные				Модальные				Понятийные			
	Пре-теритивность	Недавность	Давность	Динамичность	Статичность	Множкратность	Незаконченность	Законченность	Нереализованность	Реализованность	Неочевидность	Очевидность	Категоричность	Некатегоричность	Конкретность	Отвлеченность
Прошедшее потенциальное (регулярное) келлр эди	+		+	+		(+)	+								+	+
Прошедшее будущее келлик эди	+		+	+		0	+								0	0
Прошедшее незаконченное (продолженное) келле эди	+		+	+		+									(+)	0
Прошедшее многократное (обычное) келлиучо эди	+		+	+		+									+	+
Давнопрошедшее келлен эди	+		+	+		0	+								+	+
Прошедшее неочевидное (неопределенное) келленди	+	0 (+)	0	0 (+)		0	+								0 (+)	0
Прошедшее категоричное келли	+	+		+		+									+	+

Примечание: «0» — нейтральность семы; «+» — отсутствие семы; «-» — наличие семы.

через призму субъективного восприятия (или невосприятия) говорящего лица; ввиду этого неочевидность действия предполагает его недифференцированность по индивидуальным характеристикам и представленность этой модальной разновидности одной общей формой (на *-гъан*); очевидность представляет прошедшее действие как преломляемое через субъективное восприятие и дифференцированное по индивидуальным характеристикам, в чем находит свое отражение и способ его субъективного восприятия (табл. 2).

Основная прагматическая целеустановка и соответствующий модально-стилистический волюнтаривный эффект при прямом и переносном употреблении глагольных форм прошедшего времени опираются на семантико-функциональные возможности «неочевидности—очевидности».

Взаимозаменяемость и функциональная синонимия прошедших времен, основанные на потенциальной возможности обобщенно-абстрагированной языковой семантики употребляться референтно и нереперентно, осуществляются в языке посредством нарушения каузальной последовательности соответствующих единиц, их смещением и перестановкой относительно системных причинно-следственных позиций.

Наиболее контрастным моментом, в котором «раздельно» просвечивается значение очевидности, является случай употребления очевидного многократного прошедшего при логически постоянных неделимых, монолитных действиях.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ Дмитриев Н. К. Грамматика башкирского языка. М.; Л., 1948.

² Юлдашев А. А. Система словообразования и спряжения глагола в башкирском языке. М., 1958.

³ Серебрянников Б. А. Система времен татарского глагола. Казань, 1963.

⁴ См., например: Покровская Л. А. Грамматика гагаузского языка: Фонетика и морфология. М.: Наука, 1964.

⁵ А. К. Казем-Бек называет эту форму «прошедшее совершенное 2-е» [б. С. 279].

⁶ Казем-Бек Мирза А. Общая грамматика турецко-татарского языка. Казань, 1846.

⁷ Современный татарский литературный язык: Лексикология. Фонетика. Морфология. М.: Наука, 1969.

⁸ Исхаков Ф. Г., Пальмбах А. А. Грамматика тувинского языка: Фонетика и морфология. М., 1961.

⁹ Урусбиев И. Х. Спряжение глагола в карачаево-балкарском языке. Черкесск, 1963.

¹⁰ Тенишев Э. Р. Строй саларского языка. М., 1976.

¹¹ Левитская Л. С. Историческая морфология чувашского языка. М.: Наука, 1976.

¹² Рамstedт Г. И. Введение в алтайское языкознание. М., 1957.

¹³ Современный казахский язык: Фонетика и морфология. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1962.

¹⁴ Дыренкова Н. Н. Грамматика хакасского языка: Фонетика и морфология. Абакан, 1948.

¹⁵ Харитонов Л. Н. Современный якутский язык. Якутск, 1947. Ч. 1: Фонетика и морфология.

¹⁶ Алиев У. Б. Наклонение и время глагола карачаево-балкарского языка // В кн.: Вопросы категорий времени и наклонения глагола в тюркских языках. Баку, 1968.

¹⁷ Зайнуллин М. В. К вопросу о классификации форм прошедшего времени глаголов изъявительного наклонения в современном башкирском языке // В кн.: Вопросы методологии и методики лингвистических исследований. Уфа, 1966.

¹⁸ Салехова Н. Х. Грамматическая категория времени татарского глагола и темпоральность. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Казань, 1975.

А. Х. ДЖУБАНОВ

**ПОДГОТОВКА ТЮРКОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СЛОВОУКАЗАТЕЛЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПИСАТЕЛЯ НА ЭВМ**

Научно-технический прогресс, совершенствование электронно-вычислительной техники, внедрение точных методов исследования в различные области знания оказывают интенсивное влияние и на развитие лингвистической науки, в том числе тюркологии.

В данной статье анализируется некоторый опыт применения электронно-вычислительной машины (ЭВМ) в лингвистических изысканиях, осуществляемых в течение ряда лет в Институте языкознания АН КазССР. Как показывает практика, с помощью ЭВМ можно значительно облегчить наиболее трудоемкие процессы выполнения лексикографических работ, в частности заменить быстродействующими и удобными магнитными лентами, перфокартами и т. д. нынешние громоздкие картотеки, создаваемые вручную. В результате во много раз упрощаются поиск и накопление необходимой языковой информации, становится возможным ее долгосрочное хранение.

В настоящее время полностью автоматизирован процесс построения различных видов частотных словарей, таких, как алфавитно-частотные, частотно-алфавитные и обратно-алфавитные словари лингвистических единиц текста. Подобные словари можно получать с помощью ЭВМ по текстам и тюркских языков. При этом появляется возможность сопоставить большой статистический материал, накопленный по индоевропейским языкам флективно-аналитического строя, со свежими статистическими данными языков агглютинативного строя. Опыт показал, что строй тюркских языков поддается эффективной обработке на ЭВМ, поскольку морфемная структура тюркских основ по своей фонетической и грамматической природе является довольно устойчивой и прозрачной. Как считают Р. Г. Пиотровский и другие ученые, ассимиляция, редукция и прочие явления, входящие в понятие «фонетических законов» в рамках индоевропейских языков, чужды тюркским языкам, а это позволяет точно фиксировать те или иные моменты языка при математическом описании.

Современное развитие казахского языкознания предполагает учет не только фонетических, грамматических классов слов, но и всего словарного фонда языка как в литературном, так и в диалектальном аспектах. Ныне Институт языкознания АН КазССР располагает обширным картотечным фондом, который ежегодно пополняется за счет словоформ, почерпнутых из новых изданий. Благодаря изучению такого материала созданы и создаются орфографический, терминологический,

двуязычные, а также 10-томный «Толковый словарь казахского языка». Однако трудоемкость ручной выборки материалов картотечного фонда создает немало неудобств при выполнении плановых заданий как в теоретико-исследовательском, так и в организационном, практическом плане.

В Институте языкознания АН КазССР ряд лет функционирует группа статистико-лингвистических исследований и автоматизации (ныне группа автоматизации лингвистических работ), которая занимается внедрением автоматизации в выполнение отдельных трудоемких процессов в области лексикографии. Группа использует статистические методы исследования как необходимое условие для разрешения многих вопросов не только структурно-прикладного, но и традиционного языкознания.

При помощи ЭВМ сотрудники группы подготовили и опубликовали частотные словари: «Куманша-қазақша жиілік сөздік («Куманско-казахский частотный словарь») и «М. Әуезовтің „Абай жолы” романының жиілік сөздігі» («Частотный словарь романа М. Ауэзова „Путь Абая»)» [1. С. 277; 2. С. 336]. Материалы этих словарей могут помочь языковедам при исследованиях количественных характеристик лингвистических фактов.

Практика работы с частотными словарями показывает, что алфавитно-частотные словари слов или словоформ дают больше лингвистической информации, если слова словника будут снабжены «адресами», т. е. указанием страниц, где они встречаются. Это упрощает задачу исследователя при ознакомлении с интересующим его словом или словоформой из контекста. В этой связи возникла необходимость составить на ЭВМ словарь-словоуказатель с выдачей для каждой словоформы нумерации страниц и строк по их встречаемости и частоте в исследуемом тексте.

В настоящее время в Институте языкознания АН КазССР началась подготовка к составлению поэтического словаря языка произведений М. О. Ауэзова на базе полного собрания его сочинений в 20-ти томах.

Полный состав языка произведений М. Ауэзова включает в себя около 3 млн словоупотреблений. При таком большом объеме текста невозможно зарегистрировать весь лексический материал вручную. К объективным трудностям относятся сложность материала, содержащего большое число (более 50% текста) редких слов по отношению к частоте их употребления, а также множество однотипных, часто употребляемых слов, среди которых есть и лексические аномалии, сочетания и т. п. Как правило, наличие большого числа определенных элементов слов с высокой частотой употребления, например, предлогов, союзов, местоимений, вспомогательных глаголов и т. п., создает известные трудности при обработке. С другой стороны, полная регистрация указанных лингвистических единиц приводит к обилию однотипного материала, который заполняет все емкости картотеки и затрудняет в дальнейшем работу составителей. В некоторых случаях выборщик поступает и так: если тот или иной контекст по какой-либо причине не удовлетворяет его, то он пропускает этот синтаксический отрезок, хотя, может быть, именно в нем употреблено слово, встречающееся во всем произведении всего один раз. Это ведет к немалым потерям слов. Таким образом, полная обработка текста произведений на ЭВМ дает возможность зарегистрировать словарный состав источников с охватом всех лексических единиц текста, с последующим отбором необходимых для словарной работы языковых величин. Все это способствует успешному решению

вопросов, связанных с полнотой словника словаря, нормативностью фиксируемых лексических единиц, их стилистической характеристикой в словаре, позволяет отделить узуальное от индивидуально-авторского и т. п. Практика работы с автоматическими устройствами показывает, что выполнение такого трудоемкого процесса, как полная обработка текста, возможна только при использовании ЭВМ.

Основная трудность обработки лингвистических данных с помощью электронной техники заключается в подготовке необходимой информации для ввода в ЭВМ, т. е. в перфорации текста. Пока этот процесс еще не автоматизирован, отсутствуют и читающие устройства, и потому перфорирование в данное время ведется вручную, что, в свою очередь, влечет за собой и неизбежные ошибки, требующие неоднократной проверки подготовки подготовительного периода операций.

Не исключено, что из-за недостаточности формальных признаков нужной лингвистической единицы становится невозможным автоматическое выделение ее из среды текстового массива. В подобных случаях возникает необходимость в предварительном снабжении таковой условными индексами типа помет. Например, для выделения синонимических, омонимических и антонимических рядов из состава художественного произведения или получения списков лексических групп типа архаизмов, неологизмов, модернизмов и других нам приходилось прибегать к индексации текстового материала.

При подготовке текстов 20-томного собрания сочинений М. Ауэзова для ввода в ЭВМ нами приняты условные обозначения собственных имен через буквенные индексы, а именно: А—имена и фамилии; Ж — клички животных; Г — географические названия; Б — названия печатных изданий; М—исторические события, культурно-бытовые названия; Н — астрономические названия; Р — названия племен и родов; С — аббревиатуры из заглавных букв. Индексы ставились в начале слов через дефис в расчете на то, что собственные имена в алфавитно-частотном словаре будут выделены особо. Были помечены также встречающиеся в тексте фразеологизмы, пословицы и поговорки, которые в дальнейшем мы намерены выделить в виде отдельных списков программным путем.

Снабжение текста индексами желательно проводить при решении максимального количества лингвистических задач, так как перфорирование подготовленного материала, как уже отмечалось, является не менее трудоемким делом.

Как известно, аппараты, кодирующие текстовую информацию, вводные и выводные устройства современных ЭВМ основаны на латинской и русской графике. Следовательно, при кодировании тюркоязычных письменных текстов необходимо учитывать и графемы с диакритическими знаками, принятыми в соответствии с фонематическими особенностями того или иного языка. Для удобства кодировки таких текстов и универсальности машинных программ, предназначенных для обработки лингвистического материала изучаемых языков, мы применили единые обозначения идентичных фонем различных тюркских языков. Наша транскрипция преследует узкую цель — ввод текстовой информации тюркских языков в память ЭВМ (табл. 1).

Как видно из таблицы, принятые нами буквозаменители для обозначения специфических фонем позволяют беспрепятственно пользоваться кодировочными аппаратами, основанными на русской и латинской графике.

Принцип транскрибирования специфических букв тюркских языков позволяет вводить в ЭВМ и фонетический текст, что необходимо

Т а б л и ц а 1
ЕДИНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БУКВ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ
ЯЗЫКИ

№	Азербай- джанский	Алтай- ский	Баш- кир- ский	Гага- уз- ский	Кара- кал- пак- ский	Карача- ево-бал- карский	Кир- гиз- ский	Татар- ский	Турк- мен- ский	Уз- бек- ский	Уй- гур- ский	Ха- кас- ский	Чу- ваш- ский	Якут- ский	Транскрипция
1				ä									ä		a
2	F		F	F	F					F	F	Б	Б		F
3	J	J													J
4							Ж		Ж	Ж	Ж				G
5			З												Z
6	К		Қ	Қ	Қ	Қ				Қ	Қ				Q
7		Ң	Ң	Ң	Ң	Ң	Ң	Ң	Ң		Ң	Ң	Ң	Ң	N
8	Ө	Ө	Ө	Ө	Ө	Ө	Ө	Ө	Ө		Ө	Ө		Ө	U
9			С										С		S
10		У		У	У	У				У		У	У		U
11	Ц											Ц	Ц		Ц
12	Ә		ә	ә	ә	ә	ә	ә	ә		ә				Ә
13	Һ		Һ	Һ	Х	Х	Һ	Һ		Х	Һ				Һ
14												И	И	И	И
15	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У			У	У

для исследования фонетической структуры языка с последующим определением фонематического состава, частотности индивидуальных фонем, а также рядов их позиционных вариантов и т. д.

На наш взгляд, имеющиеся алгоритмические программы нуждаются в частичном пересмотре в связи с особенностями тюркских языков, предполагающих наличие специфических букв, а также имеющих свой порядок расположения букв по алфавиту. Учитывая все это, мы составили для унификации работы машинный алфавит, общий для целого ряда тюркских языков, таких, как казахский, узбекский, туркменский, азербайджанский, киргизский, каракалпакский и др. [З. С. 250—262].

В целом организацию обработки текстовой информации на ЭВМ и получение различных видов словарей можно представить в виде схемы, показанной на рисунке.

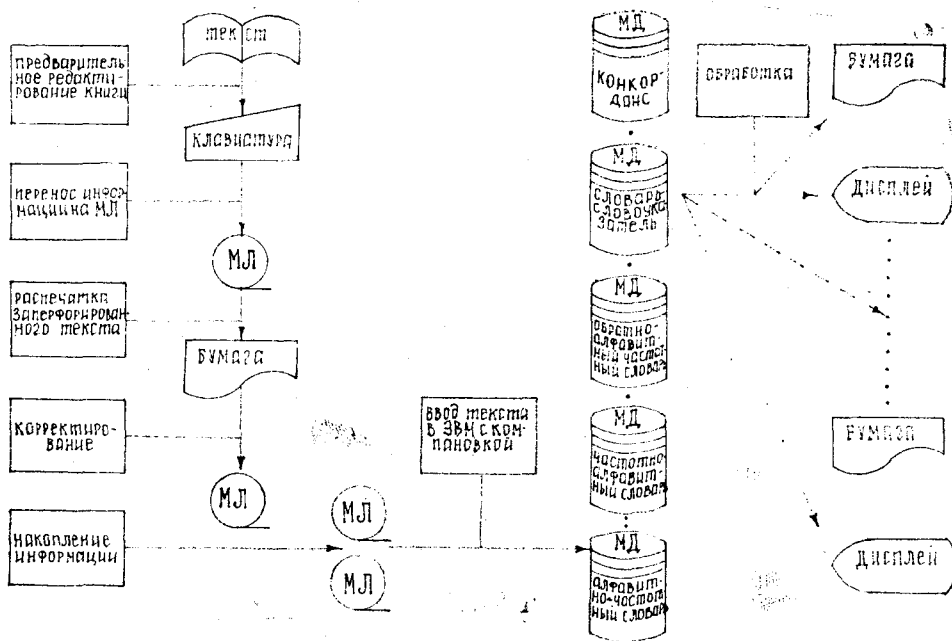


Схема организации обработки текста на ЭВМ

Предварительная подготовка обрабатываемого материала в наших опытах состояла из следующих этапов: а) исправление орфографических ошибок в тексте, допущенных по вине издательств; б) индексирование слов, означающих имена собственные; в) выделение соответствующими условными знаками фразеологических сочетаний, двух-, трех- и многочленных единиц, пословиц и поговорок; г) соединение специальным знаком компонентов сочетаний, не употребляющихся раздельно; д) разделение текста каждой страницы книги на условные строки и их нумерация (деление текста страницы на смысловые абзацы).

Подготовленный таким образом текст переносится оператором на магнитную ленту (МЛ) с помощью специального устройства подготовки данных (УПДЛ) ЕС-9004. Запись на МЛ ведется по следующей программе (табл. 2).

Т а б л и ц а 2

Реквизит	Позиция	Программный код	Количество позиций
Текст	1-70	КИР	70
*—звездочка (резервные позиции)	71	ДБЛ	1
	72-80	КИР	9

Данная программа позволяет в одном блоке МЛ записывать 70 символов текста и 10 резервных знаков «звездочка» (*). Корректировка записи, предполагающая ее удлинение, осуществляется за счет указанных резервных позиций. При этом перед началом работы в позицию 71—80 буферной памяти устройства необходимо занести символ «звездочка» (*). Если же выделенных для резерва 10-ти позиций недостаточно, то допускается переперфорирование соседних записей. В этом случае резервные позиции соответственно увеличиваются. Остальные моменты работы можно вести согласно инструкции по эксплуатации устройства ЕС-9004.

Номера страниц и строк перфорируются в начале записи со 2-й позиции перед каждым абзацем в виде (24-1), (24-2), (27-3) и т. д., заключенных между пробелами так же, как и любое слово текста. Круглые скобки не должны использоваться в других случаях, поэтому они заменяются иными видами скобок. В скобке перед дефисом стоит число, означающее номер страницы, а после дефиса — номер строки.

Скорость перфорации казахских текстов в среднем за один рабочий день пока равна 2,5 тыс. словоупотреблений, или 8 страницам книги. Относительно невысокая продуктивность оператора, видимо, объясняется тем, что в казахских текстах часто встречаются специфические буквы, которые передаются через буквы латинского алфавита и другие служебные знаки. Следовательно, в процессе перфорации для записи одной казахской буквы на МЛ оператору приходится нажимать две клавиши. Для увеличения скорости операции требуется инженерная переделка клавиатуры устройства согласно казахской графике письма.

В схеме на рисунке указаны этапы организации обработки текста на ЭВМ. Следующим этапом после записи определенной порции текста на МЛ является распечатка ее на бумаге. Она необходима для обнаружения ошибок, допущенных во время перфорации.

Исправление опечаток в тексте корректируется тем же устройством ЕС-9004. Этот процесс значительно облегчен благодаря использованию экрана дисплея в устройстве для чтения блока данных на МЛ. Исправленная окончательно порция текста дозаписывается на накопительную МЛ. Для повышения надежности накопительная МЛ должна храниться в 2-х или 3-х экземплярах. Данный этап работы повторяется до тех пор, пока на накопительной МЛ не окажется весь необходимый объем текстовой информации.

Комплекс программ для получения алфавитно-частотного словаря-словоуказателя на ЭВМ написан на алгоритмическом языке ПЛ/1 для ЕС ЭВМ. Для получения словаря-словоуказателя необходима в основном работа 3-х программ в следующей последовательности:

1. Ввод текста с МЛ на магнитный диск (МД);
2. Сортировка словаря по алфавиту, номерам страниц и строк;
3. Печать на АЦПУ словаря-словоуказателя.

Программа вывода на печать словаря считывает с магнитного диска записи и печатает на устройстве печати (АЦПУ) словоуказатель

с указанием порядкового номера, частоты употребления, словоформы, номеров страниц и строки.

Т а б л и ц а 3

Собрание сочинений М. О. Ауэзова. Т. I						
п.п.	Частота	Словоформа	Номера страниц и строк			
1	9	А	(87-4)	(144-6)	(226-1)	(226-4)
			(226-7)	(262-1)	(315-6)	(345-3)
			(346-1)			
2	1	А-АБАЙДЫН	(177-4)			
551	3	АҒА	(210-1)	(227-1)	(248-6)	
617	68	АДАМ	(68-2)	(72-3)	(73-7)	(74-1) (78-2)
			(78-8)	(79-1)	(108-1)	(128-7) (133-2)
			(148-5)	(149-2)	— — —	(376-8)
			(380-1)			
2813	5	БАҚЫТ	(130-7)	(166-3)	(169-2)	(209-5)
			(252-2)			
5008	1	ДУҒА	(271-4)			
5360	5	ЕНБЕГІ	(289-4)	(302-5)	(334-1)	(336-8)
			(348-5)			
7313	14	ЖУМСАҚ	(74-2)	(91-5)	(123-6)	(145-3)
			(159-2)	(166-3)	(168-4)	(170-2)
			(179-7)	(236-1)	(241-4)	(244-7)
			(348-6)	(348-6)		
8783	1	КОЗИННІН	(78-1)			
9915	4	ҚАЗАҚЫ	(102-7)	(306-4)	(318-1)	(332-2)
14348	6	ҚУҚСАТ	(140-3)	(254-4)	(295-2)	(278-5)
15408	1	СОНІП-ЖАНУ	(299-2)	(333-8)		
			(142-1)			
19971	3	ЯПЫР-АУ	(199-3)	(333-5)	(398-3)	

Для каждой словоформы по данной программе в памяти ЭВМ резервировано место на 500 номеров страниц. Так, если словоформа встречается более чем 500 раз, то печатаются только первые 500 номеров страниц. Такое ограничение вытекает из предположения, что данная словоформа зафиксирована почти на всех страницах книги, объем которой не более 500 страниц, что исключает необходимость их указания. Образец словаря-словоуказателя приведен в табл. 3.

Ресурсы ЭВМ ЕС-1045, необходимые для обработки одной книги объемом 350 страниц (около 120 тыс. словоупотреблений), таковы: оперативная память — 160 кбайт; память на магнитной ленте — 1 катушка МЛ (350 м); магнитные диски — 10 мбайт; машинное время — 2 ч.

Таким образом, на ЭВМ будут получены словоуказатели как по отдельным томам, так и в целом по полному собранию сочинений. Предполагается получение и объединенного распределительного (по частоте) алфавитно-частотного словаря, что позволяет выявить распределение частот слов в отдельных томах сочинений М. О. Ауэзова. Кроме вышеназванных словарей, на ЭВМ будут получены частотные и обратно-алфавитные словари, а также списки фразеологизмов, включающих пословицы и поговорки, встретившиеся в произведениях М. О. Ауэзова.

В данное время сотрудники группы автоматизации лингвистических работ Института языкознания АН КазССР подготовили тексты восьми томов, и на ЭВМ по этим томам получены частотные словари-словоуказатели.

Хранение на магнитной ленте текста полного собрания сочинений М. О. Ауэзова позволит благодаря ЭВМ вывести на печать или показать на экране дисплея любой абзац текста с интересующим исследователя словом, а словарь-словоуказатель укажет на страницу и строку данного слова в книге.

Нам думается, что полученный таким образом на ЭВМ справочный материал по всем произведениям М. О. Ауэзова послужит ценным источником не только для исследователей языка писателя и составителей толкового словаря языка М. О. Ауэзова, но и для изучения различных проблем современного казахского языкознания.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Құрышжанов А. Қ., Джубанов А. Х., Белботаев А. Б. Куманша-қазақша жиілік сөздік. Алматы: Фан, 1978.
2. Бектаев Қ. Б., Мырзабеков С., Белботаев А. Б. Әуезовтің М. «Абай жолы» романының жиілік сөздігі. Алматы, Фан, 1979.
3. Бектаев Қ. Б., Джубанов А. Х. Индексация и кодирование текстовой информации для ввода в ЭВМ//Статистика казахского текста. Алма-Ата: Наука, 1973.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

STUDIES ON MODERN TURKISH: PROCEEDINGS OF THE THIRD
CONFERENCE ON TURKISH LINGUISTICS/HENDRIK
E. BOESCHOTEN, LUDO TH. VERHOEVEN (EDS.)

TILBURG: TILBURG UNIVERSITY PRESS, 1987. 270 p.

Рецензируемый сборник содержит материалы 3-й конференции по турецкому языкознанию, состоявшейся в августе 1986 г. в Брабантском университете в Тилбурге (Нидерланды). Эта конференция продолжает ставшие уже традиционными встречи турецких, американских и западно-европейских лингвистов. Первая конференция была проведена в 1982 г. Калифорнийским университетом (Беркли, США), вторая — в 1984 г. университетом Богазичи (Стамбул, Турция). Принятия решение проводить такие конференции раз в два года.

Три публикации в сборнике посвящены вопросам фонетики и фонологии турецкого языка.

В статье Ахмета Конрота «Ударение в турецком языке: обусловлено оно фонологически или морфологически?» предпринята попытка верификации распространенного утверждения о том, что практически во всех исконных турецких словах ударение падает на последний слог и, таким образом, является обусловленным фонологически. С этой целью проведен эксперимент по проверке восприятия ударения в монотонно произносимых бессмысленных словах различной слоговой структуры, предъявляемых слушателю с помощью искусственного синтезатора речи. Статистический анализ результатов эксперимента показал, что восприятие ударения носителями турецкого языка частично обусловлено фонологически, т. е. ожидается в определенной позиции, а частично морфологически, причем иногда решающим моментом в восприятии ударения являются акустические корреляты выделения слога.

Публикация Роберта Андерхилла содержит краткий очерк контрастной фонологии турецкого и кашкайско-турецкого языков. Язык кашкайцев, живущих на территории Ирана, относится к числу малоисследованных тюркских языков. В статье описан один из диалектов кашкайско-турецкого языка, в меньшей степени, чем другие, подвергшийся влиянию персидского

языкового окружения и сохранивший полную систему гласных и сингармонизм. Сами его носители считают свой язык турецким. Однако проведенное автором сравнение фонологических систем этих языков выявляет существенные различия между ними в сфере как гласных, так и согласных. Отмечается, в частности, отсутствие в кашкайско-турецком фонемы [y]. В тех позициях, где этот гласный встречается в турецком, в кашкайском употребляется либо [e], либо [ë] — гласный среднего подъема заднего ряда, произносимый как [ʌ]. Ср.: altë 'шесть', qez 'дегушка', қауџ 'бумага' и т. д. Лишь в ограниченном количестве окружений звук [y] выступает в качестве аллофона фонемы [e]. Привлекают внимание также некоторые фонологические черты языка кашкайцев, отличающие его от турецкого языка, но сближающие с азербайджанским. Сюда следует отнести оппозицию [e]—[a], наличие фонемы [x], особенности употребления других велярных согласных и т. д. В этой связи было бы интересно провести сопоставление не только фонологических, но и грамматических систем кашкайско-турецкого и азербайджанского языков. Вообще, как нам представляется, советским тюркологам давно уже следовало бы подумать об организации научных экспедиций по изучению тюркских диалектов на территории Ирана.

В статье «Эмфатическая редупликация в турецком языке» Омер Демирджан исследует явление, называемое в нашей отечественной традиции частичной редупликацией прилагательных и служашее для выражения предельной, избыточной степени качества (например: қаға—қарқаға, боғ—ботбоғ и т. д.). Автор тщательно проанализировал фономорфологическую структуру редуплицированных корней и сформулировал в терминах дифференциальных признаков фонем почти исчерпывающие правила их оформления. Эти правила представлены в виде алгоритма, обеспечиваю-

щего в подавляющем большинстве случаев точный выбор конечного согласного первой части редуцированного прилагательного/наречия, что позволяет осуществить автоматический синтез рассматриваемых форм.

В публикации Маргарет Байнбридж «Займствованные союзы в турецком языке в противовес исконному синтаксису» употребление союзов, заимствованных из персидского и арабского языков, рассматривается в сопоставлении с собственными средствами связи в турецком синтаксисе. Показано, что союзы не являются обязательным маркером связи предложений в турецком языке. Эта связь осуществляется другими средствами, что особенно ясно обнаруживается в разговорном языке. С помощью одного исконного союза (*da/de*), выступающего в качестве энклитики, основные структуры расширяют свой диапазон, в сущности не изменяясь. Займствованные союзы, не являющиеся энклитиками, изменяют основную разговорную модель сложного высказывания (утверждение + пояснение) в том плане, что подразумеваемая связь получает эксплицитное выражение. Единственным заимствованным союзом-энклитикой является *ki*, формирующий структуры, подобные таковым с *da/de*. Вместе с тем в статье отмечаются некоторые случаи употребления союза *ki*, которые не столь удачно вписываются в исконный турецкий синтаксис. При этом, как считает автор, *ki*, подобно другим заимствованным союзам, уже не является энклитикой: на него падает ударение, и ему предшествует пауза. Более того, в ряде конструкций он выступает скорее как составная часть относительного местоимения. Такое употребление союза *ki*, с точки зрения автора, характерно для речи только тех носителей турецкого языка, которые так или иначе контактировали с языками, обладающими собственно относительными местоимениями как средством связи между главным предложением и определительным придаточным. Тем не менее трудно согласиться с тем, что союз *ki* не имеет характера энклитики в приводимых в статье предложениях типа *Ekim ayı. Üçün onuncu ayı ki 31 gün sünger* 'Октябрь. Десятый месяц года, который длится 31 день' или *Binanın... onaltı odası vardır ki önleri evvanlıdır* 'В здании шестнадцать комнат, перед которыми имеются веранды'. В этих примерах *ki* произносится без ударения, будучи акцентуационно связанным с предыдущим словом, и потому должен считаться типичной энклитикой. Кроме того, такого рода структуры вовсе не являются настолько чуждыми турецкому языку, чтобы их употребление в речи связывать с уровнем образования говорящего¹. Добавим также, что союз *ki* является все-таки не заимствованным, а собственно тюркским средством подчинительной связи, хотя сам процесс формирования союзного способа

выражения подчинения происходил под влиянием синтаксиса иранских языков².

Небольшая статья Карла Циммера «Еще раз о турецкой релятивизации» продолжает цикл публикаций зарубежных лингвистов, посвященных построению относительных конструкций (причастных оборотов) в турецком языке³. Проанализировав сформулированные другими исследователями принципы выбора конструкций с субъектным (-Ap) или объектным (-DİK) причастием, автор все-таки приходит к заключению о том, что обе эти конструкции могут употребляться в одинаковых контекстах, различия же между ними носят зачастую трудно уловимый характер и лежат, по видимому, в области стилистики. Во всяком случае данный вопрос требует дальнейших исследований.

В статье «О турецком глаголе отношения» Айхан Сезер стремится пролить свет на некоторые не до конца ясные грамматические особенности предложений бытия и обладания («be» and «have» sentences). В таких предложениях турецкого языка предлагается выделять на уровне глубинной структуры «глагол отношения», выражающий пять понятий: приписывание (признака), тождественность, обладание, местоположение и существование. Этот «глагол» передается в поверхностной структуре такими средствами, как связь *var/yoğ*, глагол *ol-*, а также может иметь нулевую реализацию. Хотя аффикс -Dİğ действительно часто опускается в именном сказуемом (особенно в разговорной речи), представляется, однако, слишком категоричным утверждение автора о том, что -Dİğ вообще не является соответствием бытийного «глагола отношения».

В статье Аслы Гексель «Дистанционные ограничения в синтаксических процессах» уточняются правила согласования в числе (использования глагольного аффикса третьего лица множественного числа -İEr), а также появления аффикса отрицания -mE в конструкциях, содержащих парный союз *pe...pe*. Автор, по-новому подойдя к проблеме, показывает, что в употреблении указанных словоизменительных аффиксов глагола важную роль играет фактор расстояния между связываемыми компонентами предложения, и определяет условия реализации этого фактора.

Пять публикаций (почти четвертая часть объема сборника) посвящены вопросам турецкой грамматики, рассматриваемым в свете «теории управления и связывания». В рамках этой теории формируются некоторые новые условия и ограничения известной модели генеративной грамматики Н. Хомского. В частности, особое внимание уделяется тем конфигурациям и отношениям в представлении структуры предложения, которые обладают универсальными чертами, например, отношениям между анафорическим элементом и антецедентом. В этой связи представляют интерес так

называемые «пустые категории» прономинального характера, выполняющие функции как анафорических, так и неанафорических элементов. Так, в статье Сумру Озсой «Нулевой субъектный параметр и турецкий язык» рассматриваются случаи формальной невыраженности субъекта (явление, называемое в генеративной лингвистике *pro-d_{top}*) в разного рода причастных и масдарных оборотах и изучается возможность заполнения субъектной позиции прономинальными элементами. Тем самым раскрываются особенности глубинной структуры указанных конструкций.

В публикации Силии Керслейк «Опущение именной составляющей и прономинализация в турецком языке» исследуется связь между эллипсисом именных компонентов высказывания, согласованием и прономинализацией. При этом определяются и анализируются такие разновидности опущения, как а) элементы в параллельных сочинительных структурах; б) обязательная формальная невыраженность субъекта во вставных конструкциях (*embedded clauses*) типа масдарных и деепричастных оборотов в связи с совпадением его с субъектом, соотношенным с основным предикатом, который передается финитным глаголом; в) эллипсис именного компонента при наличии показателя согласования, главным образом в посессивных словосочетаниях и причастных оборотах; г) нулевая анафора, или опущение именного компонента при отсутствии показателя согласования. Например, в предложении [Zeuner bu kitabı methettigi] halde be/n Ø beğnedim 'Хотя Зейнеп и расхваливала эту книгу, мне (она) не понравилась' референтом опущенного объекта является *bu kitabı* 'эта книга'. Обращаясь к анализу текстового материала, автор выявляет статистическое соотношение случаев опущения именного компонента и прономинального заполнения соответствующей позиции. Рассматривается также связь между возможной элиминацией тех или иных элементов, их синтаксической функцией и прономинализацией.

«Пустые категории, в частности не выраженные формально прономинальные элементы, их связь с антецедентом являются предметом исследования в статье Жаклин Корнфилт «За пределами условий связывания: на материале турецкого языка».

Бернт Брендемон и Эва Агнеш Чато в статье «Синтаксический анализ турецких деепричастных оборотов с субъектным контролем» исследуют отношения между деепричастными конструкциями на *-ip*, *-erek*, *-e...-e* и основной глагольной составляющей предложения с точки зрения общности/различия их субъектов.

В публикации Сары Д. Кенелли «Турецкие герундии» довольно подробно анализируются синтаксические особенности оборотов с формами отглагольных имен на *mA* и *dIk*, выявляются различия в употреблении этих форм.

Следует отметить, что упомянутые выше пять статей не предлагают каких-либо принципиально новых теоретических положений и не вводят в научный обиход новых фактов. Тем не менее новым и, с нашей точки зрения, весьма полезным для тюркологии является использование тех идей генеративной грамматики и исследовательских приемов, которые были уже успешно опробованы на материале других языков. Ознакомление с публикациями, представленными в рецензируемом сборнике, показывает, что исследования, проводимые в русле генеративной теории, позволяют уточнить достаточно тонкие особенности грамматического строя турецких языков, в частности способствуют более глубокому освещению отношений между компонентами предложений, содержащих обороты с неличными формами глагола.

Эти статьи изобилуют терминами, обозначающими специфические понятия «теории управления и связывания», и потому предполагают знание читателем основополагающих работ в этой сравнительно новой области генеративной грамматики⁴. В этой связи приходится, к сожалению, констатировать, что наши тюркологи не только практически не используют в своих работах идеи и методы трансформационно-порождающей грамматики, но и недостаточно хорошо осведомлены о состоянии соответствующих исследований за рубежом. Правда, некоторый пробо́л в данной области был заполнен выходом в свет в этом году тюркологического выпуска сборника «Новое в зарубежной лингвистике»⁵.

Две публикации в рецензируемом сборнике посвящены вопросам вычислительной лингвистики на материале турецкой грамматики. В статье Сабри Коча «Деривация именной составляющей из предложения: номинализация предложений в турецком языке» формируются трансформационные правила номинализации, применение которых образует объектную именную составляющую из соответствующего предложения в глубинной структуре. Например, с помощью предлагаемых восьми правил глубинная структура типа *Ayşe [Ayşe güzeldir] inanıyor* может быть преобразована в ее соответствие с номинализованным компонентом, заключенным выше в скобки: *Ayşe güzel olduğuna inanıyor* 'Айша верит, что она красива'. В качестве «номинализирующих морфем» наряду с *-DIK* выступают также аффиксы *-(y) İř-mA* и *-(y) AсAk*. Указанные синтаксические правила носят формализованный характер и реализованы автором в виде компьютерных программ, что позволяет использовать их в различных системах автоматической переработки турецкого текста. С соответствующей коррекцией эти правила могут быть применены и к другим тюркским языкам.

В заголовке статьи Альберта М. Стоопа «Проход в мир машинного перевода: к созданию автоматического переводчика для

голландского и турецкого языков» обыгрывается сокращенное название проекта по машинному переводу TRANSIT (-TRAN (slation) S (ystem) I (nto) T (urkish)), разрабатываемого на факультете вычислительной лингвистики Неймегенского университета (Нидерланды). В последние годы нидерландскими учеными были созданы компьютерные программы анализа предложений голландского языка и получения их семантических представлений на основе падежной теории Филмора. Указанные семантические представления предложений используются на входе системы голландско-турецкого машинного перевода. Отличительная особенность этой системы заключается в том, что она преследует не прагматические, а преимущественно теоретические цели — проверку семантической теории. В рамках рассматриваемого проекта разрабатываются также системы автоматического морфологического и семантико-синтаксического анализа предложений турецкого языка и соответствующие системы синтеза. Все эти компьютерные программы могут быть использованы в обучении студентов турецкому языку. В настоящее время TRANSIT способен переводить главные предложения с глаголами, имеющими только два актанта (глубинных падежа).

В статье «Варьирование времен в турецком повествовании» Эсер Эргуванлы Тайлан анализирует переключения с одного времени на другое, наблюдаемые в повествовательных связных текстах. Материалом для исследования послужили записи устных рассказов-текстов, отражающих содержание короткого кинофильма, предварительно просмотренного участниками эксперимента. В результате были выявлены опорные времена в повествовательных текстах, установлены случаи переключения с опорных времен на другие и подсчитано их количество. Любопытны статистические данные: время на -iyoğ оказалось опорным в 14 повествованиях из 20 (715 употреблений + 122 переключения), время на -di — в четырех повествованиях (92+15), время на -ig — в двух (42+13). Далее в статье раскрываются функции переключения опорного времени. Здесь, в частности, выделяются: а) структурная функция (например, в условном периоде); б) функция организации повествования (сигнализация различных его частей); в) переключение точки зрения говорящего (например, переход к оценочным замечаниям); г) модальные и аспектуальные переключения (например, употребление формы на -miş в функции комментатива или результиativa). В заключение делается, с нашей точки зрения, верный вывод о том, что наиболее часто выступающая в качестве опорного времени форма на -iyoğ, будучи преимущественно аспектуальным показателем, может считаться сигналом «немаркированного» повествовательного стиля. Формы на

-di и -ig имеют довольно специфичные и ограниченные временные и модальные функции, тогда как форма на -iyoğ в нарративном контексте придает повествованию эффект «вневременности» и создает ощущение непосредственного соприкосновения с событиями каждый раз, когда это повествование рассказывается.

Со своей стороны, нам хотелось бы сделать некоторые уточнения. Автор, рассматривая переключение опорного времени, обусловленное структурным фактором, в качестве примера приводит случай употребления формы на -iyoğdu в повествовании с опорным временем на -di. Такого рода переключение, однако, обусловлено скорее не собственно структурным фактором, а текстообразующими функциями указанных форм. Дело в том, что в «историческом» повествовании, в котором опорным временем является форма на -di, последняя выступает как своего рода текстовой предикат, полное осмысление которого (в плане взаимосвязей с другими фрагментами текста) требует обращения к предшествующей информации. Если же повествование начинается с предложения с формой на -di, то здесь присутствует элемент неожиданности для адресата, который в этом случае должен мысленно представить себе ситуацию, предшествующую описываемой. Иными словами, предложение с -di характеризуется пресуппозицией о предшествующей информации. Этим, по-видимому, объясняется тот факт, что исторические повествования практически не начинаются предложениями, содержащими глагольные формы на -di. Такое начало бывает стилистически маркированным. Поэтому вполне естественным является употребление в начальном предложении повествования таких форм, как -iyoğdu или -mişti, выступающих в функции экспозиции, введения в текст, характеризующийся опорным временем на -di.

Гюль Дурмушоглу в статье «Когезия в турецком языке: сравнительный анализ показателей связности в турецком и английском текстах» рассматривает различные грамматические и лексические средства, принимающие участие в текстообразовании в качестве связующих компонентов. Исследование проводилось на материале небольшого турецкого текста (эпитафия поэта Орхана Велли) в сопоставлении с его переводом на английский язык. Такой анализ средств когезии в параллельных текстах позволяет получить важные факты для контрастного изучения турецкого и английского языков.

Несколько публикаций посвящено вопросам усвоения родного языка. В статье Оздена Экмекичи «Творчество в процессе овладения языком» исследуется словотворчество турецких детей дошкольного возраста. Показано, что в детском словотворчестве, которое прежде всего направлено на заполнение лакун в лексиконе, в основ-

ном используется аффиксация. Анализируются словообразовательные особенности инноваций, возникающих в речи детей, выявляются встречающиеся в них отклонения от нормы.

Статья Ямиле Имер «Изучение использования школьниками турецкого литературного языка» содержит результаты анализа сочинений учащихся, завершающих 5-летнее начальное образование в школах Анкары. Установлено, что уровень овладения синтаксическими нормами литературного языка во многом зависит от принадлежности ученика к одному из трех социальных классов (высшему, среднему, нижнему), определяемых образованием, характером трудовой деятельности и заработком родителей. Как выясняется, важную роль здесь играет и социальное окружение в самой школе, которое также влияет на синтаксис письменных работ школьников, в частности на порядок слов.

Статья Лудо Верховена «Усвоение пространственной референции в турецком языке» носит психолингвистическую направленность. В ней анализируется процесс овладения понятийным и грамматическим аспектами пространственной референции в речи турецких детей от 4 до 8 лет, проживающих в Нидерландах, в сопоставлении с речью детей того же возраста в Турции. Автор привлекает к исследованию такие средства выражения пространственных отношений, как а) указательные местоимения *bu* 'этот', *şu* 'тот', *o* 'он тот', отражающие три степени удаления предмета от говорящего; б) имена, оформленные показателями пространственных падежей; в) наречия места и направления. Особое внимание уделяется средствам пространственного дейсиса. В статье представлен подвергнутый статистической обработке интересный материал, наглядно демонстрирующий связь употребления тех или иных локативных выражений с возрастом детей и языковым окружением. Остается, однако, открытым вопрос о том, каковы конкретные причины расхождений в моделях усвоения пространственной референции, наблюдаемых в различном языковом окружении, и какую роль при этом играет турецко-голландское двуязычие.

Психолингвистическую значимость имеет и статья Хендрика Босхотена «Усвоение модальности в турецком языке». В ней подтверждаются полученные ранее на материале европейских языков данные о том, что формальные средства выражения различных типов модальности, используемые детьми, постепенно развиваются с возрастом, причем вначале усваиваются «слабые» типы модальности. Так, в турецком дети рано овладевают употреблением аффиксов аориста, будущего времени (точнее, намерения) *-AcAk* и показателя отрицания возможности *-AmA*. Позднее (после 6 лет) система модальностей дополня-

ется утвердительной формой возможности на *-Abil* и формой наиболее «сильной» модальности должествования на *-mAlI*. Проведено также соответствующее сравнение с речью детей, выросших в Нидерландах.

В статье Эрики Хулс «Директивы в турецком языке» изучаются побудительные речевые акты, управляющие невербальным поведением адресата (приказ, просьба, разрешение, запрещение, принуждение и т. д.). Автором предложена типология директивов в турецком языке и рассмотрены социальные факторы, влияющие на употребление и интерпретацию директивов в турецкой семье, обосновавшейся в Нидерландах. Исследование проводится в рамках подхода, определяемого как «социолингвистика взаимодействия» (*interactional sociolinguistics*) и особо учитывающего обусловленность выбора тех или иных специфических языковых формул социальным контекстом.

Сборник включает статья Вольфа Дитриха Кенига, в которой затрагиваются важнейшие социолингвистические аспекты языковой реформы в Турции.

Рецензируемый сборник, несомненно, вызовет интерес у тюркологов. Книга отражает самые различные темы, проблемы и аспекты исследований в области турецкого языка и тем самым дает хорошее представление о состоянии и актуальных направлениях турецкого языкознания за рубежом. Остается только пожалеть, что статьи сборника практически не содержат ссылок на работы советских тюркологов, заслуги которых в изучении турецкого языка общезвестны.

В. Я. Пинес

¹ Подобные конструкции, кстати, широко распространены и в азербайджанском языке. Многочисленные примеры можно найти в книге: *Абдуллаев Э. Мүасир Азербайжан дилинде табели мурэккэб чүмлэлэр*. Баку, 1974. С. 225—249.

² Подробно см.: *Щербак А. М.* Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков: (наречия, служебные части речи, избрательные слова). Л., 1987. С. 114—116.

³ Некоторые из этих работ переведены на русский язык. См.: *Андерхилл Р.* Причастия в турецком языке // *Новое в зарубежной лингвистике*. М., 1987. Вып. 19: Проблемы зарубежной тюркологии. С. 324—339; *Ханкамер Х., Кнехт Л.* Роль противопоставления подлежащих и неподлежащих имен в турецком языке при выборе формы причастия в относительной конструкции // Там же. С. 340—357; *Деде М.* Построение относительной конструкции в турецком языке, или есть ли необходимость

в различении подлежащих и подлежащих определяемых имен// Там же. С. 358—370.

⁴ См.: Chomsky N. Lectures on Government and Binding. Dordrecht: Foris Publications, 1984; *idem*. Some Concepts and

Consequences of the Theory of Government and Binding. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1982.

⁵ Новое в зарубежной лингвистике. М., 1987. Вып. 19: Проблемы современной тюркологии. М., 1987.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИИ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА

КАЗАНЬ, 1985. 159 с.

Сборник открывает статья Д. Б. Рамазановой «К истории формирования татарских говоров северо-западной Башкирии (по данным архивных и исторических источников)». Большинство исследователей при определении места говоров северо-западной Башкирии исходили в основном из лингвистических критериев. Статья же Д. Б. Рамазановой построена на материале архивных документов и исторических источников, что усиливает доказательность сделанных в ней выводов. Автор справедливо, на наш взгляд, считает, что появление болгарского населения — предков современных казанских татар — в этом регионе относится ко времени существования Булгарского государства. Хотелось бы, однако, чтобы в статье имелся более развернутый комментарий к архивным материалам.

В статье Т. Х. Хайрутдиновой рассматривается бирский говор среднего диалекта татарского языка. Она написана на основе материалов, собранных автором для II тома «Диалектологического атласа татарского языка» методом лингвистической географии. Приведенные в ней фонетические, грамматические и лексические данные подтверждают выводы, сделанные в свое время Л. Т. Махмутовой, о том, что бирский говор является самостоятельным говором среднего диалекта татарского языка.

В статье Д. Б. Рамазановой, Т. Х. Хайрутдиновой «К вопросу о формировании байкибашевского говора мишарского диалекта татарского языка» вывод о самостоятельном функционировании байкибашевского говора мишарского диалекта татарского языка документально доказан архивными источниками, извлеченными из фонда ЦГА ДА и ЦГА БАССР.

Указанную статью удачно дополняет статья М. В. Гайнутдинова «Гарызы-наме» Батырши — памятник татарского языка XVIII века». «Гарызы-наме», как отмечает автор, является ценным документом, подтверждающим наличие на территории Балтачевского района ряда селений с мишарским населением. Памятник интересен и

как лингвистический источник, позволяющий выявить особенности байкибашевского говора. Критический подход к прочтению текста помог автору устранить ошибки, ранее допущенные отдельными исследователями, предложить свои варианты.

Статья М. В. Гайнутдинова является, на наш взгляд, дополнительным текстологическим аргументом, подтверждающим выводы диалектологов о том, что в формировании байкибашевского говора мишарского диалекта татарского языка принимали участие носители мишарского диалекта — выходцы из бассейна р. Пьяна (Алатырского, Курмышского, Арзамаского и других уездов Центральной России).

Статья С. Х. Алишева «К вопросу об образовании булгаро-татарской народности» посвящена проблеме формирования татарской народности, выяснению некоторых спорных моментов этногенеза булгаро-татарской народности вообще, а также вопросам формирования этнических групп татарского народа, казанских татар и мишарей — в частности.

Основываясь на данных исследования Л. Т. Махмутовой, автор полагает, что «язык собственно булгар домонгольского периода, очевидно, сформировался как один из диалектов общетюркского языка» (с. 111). По его мнению, в это же время «сформировался другой, близкий к булгарскому — мишарский диалект того же общетюркского языка» (с. 111). Близость языка казанских татар и мишарей может быть объяснена наличием генетических связей между этими двумя группами.

Как считает С. Х. Алишев, «булгарская народность сформировалась на основе двух главных компонентов — булгар и кыпчак, но впитывала в себя и финно-угорские, а позднее и ногайские элементы» (с. 111—112).

Далее автор приходит к выводу, что казанские татары и мишари представляют собой этнические группы одной и той же народности.

Об отношении языка Codex Cumanicus к татарскому языку говорится в статье

Л. Т. Махмутовой «О некоторых татарско-куманских параллелях (по материалам фонетики и грамматики)».

В тюркологии установилось мнение, что язык Codex Sumanicus обнаруживает близость с языками западно-кыпчакской группы. Подвергнув тщательному анализу фонетические и морфологические особенности языка памятника, а также особенности татарского языка и его диалектов, автор пришел к весьма важному, на наш взгляд, для тюркского языкознания выводу «о том, что: 1) татарский язык, и особенно мишарский диалект его, в наибольшей степени проявляют общность с языком Cod. Sum., караимским языком и языком Половецких текстов XVI в.; 2) следует присоединиться к мнению о принадлежности татарского языка и его мишарского диалекта к одной с названными выше языками домонгольской группе; 3) в основе мишарского диалекта лежат, по меньшей мере, два диалекта древнекыпчакского языка с его довольно многочисленными огузскими элементами; 4) хотя мишарский диалект в силу сложившихся исторических условий и развивался сравнительно с другими тюркскими языками и диалектами изолированно

от других родственных языков, тем не менее эта изоляция (прежде всего территориальная) не была полной. Известны контакты мишарей с тюркоязычными народами в более позднее время; возможно, найдут свое подтверждение и предположения некоторых историков о контактах предков носителей мишарского диалекта с тюркоязычными племенами в ранний период формирования мишарей» (с. 141).

В статье Ф. С. Баязитовой, написанной по материалам экспедиции 1983 г., впервые описывается говор села Татаршино Рассказовского района Тамбовской области. Говор интересен тем, что, будучи изолированным, он подвергся сильному влиянию русского языка. В то же время в нем сохранились традиционные особенности ногайского, кумыкского языков, а также языка Codex Sumanicus и армяно-кыпчакских рукописей XVI—XVII вв. Морфологические особенности говора сближают его с другими говорами мишарского диалекта.

Статьи сборника отличаются единством стиля, должным научным уровнем, обширным фактическим материалом.

Л. Ш. Арсланов

МЭММЭДОВ М. ДИЛЛЭРИН ГАРШЫЛЫГЛЫ ЭЛАГЭСИ.

ЕРЕВАН, 1986. 110 с.

Изучение взаимовлияния азербайджанского и армянского языков началось в XIX в. Немецкий ученый Мордман указывает на то, что влияние тюркского языка на армянский отмечается уже в армянских письменных памятниках V—VI вв.

О. А. Ачарян в вводной части своей книги «Тюркские заимствования в разговорной речи стамбульских армян в сравнении с ванским, карабахским и новонахичеванским диалектами», написанной в 1902 г., совершенно справедливо указывает, что влияние азербайджанского и турецкого языков на армянский не ограничивается только лексическими заимствованиями. Фонетика и грамматический строй армянского языка также оказались под заметным воздействием указанных языков.

Начиная с 40-х годов как в Армении, так и в Азербайджане печатаются статьи, защищаются кандидатские диссертации, посвященные азербайджанско-армянским взаимоотношениям. Особое внимание привлекает среди них небольшая работа до-

цента Ереванского государственного педагогического института им. Х. Абовяна М. Мамедова «Взаимоотношения языков», в которой азербайджанско-армянские языковые взаимоотношения впервые изучаются на уровне лексики.

Для достижения своей цели автор проводит небольшое сравнение фонетического строя двух языков. Он констатирует, что некоторые гласные и согласные звуки азербайджанского языка отсутствуют в армянском языке, а отдельные фонемы, характерные для армянского языка, отсутствуют в азербайджанском языке. По этой причине азербайджанские слова, содержащие переднерядные гласные *ä, ø, ü*, такие как *sap* 'ты', *bark* 'крепкий, твердый', *läcäk* 'косынка', *üzäñgi* 'стремя', *kürsü* 'стул', *kürk* 'шуба' и т. д., в армянском языке произносятся как *sap, bark, laçag, uzangi, kursu, kurk*. Довольно часто подобные изменения наблюдаются и в согласных звуках, например, в словах *gurd* 'волк', *goşup* 'войска', *bağuş* 'сова', *jupçuq* 'кулак' и т. д., которые произносятся в армянском

языке как *γurd, γoşun, bajγuş, jımgıy*.

Книга состоит из двух основных разделов. В первом разделе изучаются азербайджанские заимствования в армянском языке. Следует отметить, что вопросу разработки азербайджанских слов, давно уже утвердившихся в армянском литературном языке, отводится более 65 страниц книги, тогда как армянские заимствования в азербайджанском языке освещаются на 20 страницах работы.

Естественно, не все заимствованные слова в армянском языке подвержены фонетическому изменению. Поэтому автор с точки зрения фонетической изменчивости и неизменяемости разделяет все заимствованные армянским языком азербайджанские слова на две группы:

1) не подвергавшиеся фонетическому изменению азербайджанско-туркские слова: *ayuz* 'уста', *aju* 'медведь', *ata* 'отец', *apa* 'мать', *aş* 'еда', 'плов', *boş* 'пустой', *jaha* 'подол', *kol* 'куст', *kosa* 'безбородый', *poхуд* 'горюх', *boşboyaz* 'болтун', *dajaz* 'мель', *damlı* 'капля', *elçi* 'посол', *jaga* 'рана', *oյan* 'проснуться, пробудиться', *saj* 'считать', *saç* 'волос' и т. д.;

2) подвергавшиеся фонетическому изменению азербайджанские слова: *doş* 'грудь', *doşak* 'матрац', *duduk* 'дудка', *suru* 'стадо' и т. д.

Азербайджанские слова в армянском языке классифицируются автором и по обозначаемым ими значениям, т. е. слова, обозначающие родственные отношения: *baba* 'дед', *bala* 'детище', *bibi* 'тетя по отцу'; слова, обозначающие названия частей тела: *boγaz* 'горло', *doş* 'грудь', *damar* 'жила', слова, обозначающие названия скота: *goş* 'одногодичный баран', *taka* 'козел самец', *buγa* 'бык'; слова, обозначающие названия предметов сельского хозяйства: *koγan* 'плуг', *agaба* 'арба, телега', *oγkan* 'аркан', *arx* 'арык'; слова, обозначающие титул, социальные слои населения: *aya* 'господин', *baj* 'бек', *hap* 'хан', *haput* 'красавица, жена человека правящего круга', *поkar* 'слуга' и т. д.

В работе рассмотрены также азербайджанские слова, заимствованные армянским языком и обозначающие оружие, птиц, одежду, украшения, зелень, фрукты, предметы домашнего обихода, музыкальные инструменты и мотивы, природные явления, обряды, законы, общественные обязанности, признаки предмета или действия и т. д., такие, как *bagut* 'порох', *tor* 'пушка', *bajγuş* 'сова', *tutuγusu* 'попугай', *sox* 'луг', *badıncan* 'баклажан', *avalik* 'шалфей', *gazγan* 'котел', *baluş* 'подушка', 'матрац', *gajγayı* 'музыкальный мотив', *usundaga* 'музыкальный мотив', *jurd* 'юрта', 'место жительства', *biz* 'шило', *tel* 'провода', 'волос', *soբan* 'пастух', *boluk* 'звено', *γagasy* 'цыган', *γaşag* 'беглец', *γabar* 'мозоль', *oյun/oյin* 'игра', *oլum* 'смерть', *alov* 'пламя', *γoγuy* 'заповедник', *iz* 'след' и т. д.

В работе, правда, в очень сжатой форме,

затронуты также азербайджанские слова, функционирующие в армянской разговорной речи. По утверждению автора, еще больше азербайджанских слов, присущих армянской разговорной речи, исключены из армянского письменного литературного языка в течение последних четырех десятилетий. Это слова типа *alıç* 'алыча', *Alabaş*—собачья кличка', *ayul* 'загон, скотный двор', *başanag* 'свояк', *bebeg/bebek* 'зрачок', *bilan* 'запястье', *başxab* 'тарелка', *barış* 'мир', *buçax* 'угол', *γarlan* 'пантера', *γajγuş* 'ремень', *γolbay* 'браслет', *γulluγ* 'служба', *qagavul* 'стража', *γonay* 'гость', *gutı/guti* 'коробка ящик', *γuş* 'птица', *γapad* 'крылья', *dıgıay* 'ноготь', *tor* 'сеть', *toz* 'пыль', *maral* 'олень', *peša* 'лес', *svay* 'штукатурка', *kol* 'кустарник', *brax* 'отпусти' и т. д.

Автор обратил внимание и на азербайджанские личные имена и фамилии, функционирующие в армянском языке: *Juzbaşjan, Donmaz, Jaşar, Jenibeg, Jenixan, Eb-bajı, Ayasi, Aslan, Dursun, Datlubek, Datlu-xan, Elçibek* и т. д.

Не менее интересны азербайджанские фразеологические единицы, заимствованные армянским языком. В армянском языке они либо сохранились в их первоначальной форме, либо частично переведены на армянский язык. К употребляющимся в своей первоначальной форме фразеологическим сочетаниям автор относит следующие: *Zar gadrin zargar bilär* 'Определение цены золота свойственно ювелиру'; *Xatiri xoş etmak* 'угодить'; *Kor uçun hamıysu birdir* 'Слепому всё одинаково' и т. д.

К частично переведенным азербайджанским фразеологическим единицам автор причисляет следующие: *Nar şeј gamas-gamas* 'Все мало-помалу'; *Zahmeti jes kesen, γajγayı Kasber ude* 'Я тружусь, а сливки кушает Каспар' и т. д.

К армянским заимствованиям в азербайджанском языке автор причисляет небольшую группу слов типа *agos* 'борозда на пахотной земле', *akımb* 'дом культуры', *avter* 'без хозяина', *aşxog* 'трудодень', *avaz* 'гесок', *banγar* 'рабочий, труженик', *bad* 'стена, забор' и т. д.

Почти все перечисленные автором армянские слова характерны в основном для ереванского и приереванского говоров азербайджанского языка.

Работа не лишена и отдельных недостатков. Во-первых, автор допустил неточность в отношении ссылок на некоторые литературные источники. Во-вторых, он не всегда придерживается принятой им системы классификации и написания слов, заимствованных армянским языком из азербайджанского. Вернее, в одних случаях автор при написании азербайджанских слов, укоренившихся в армянском языке, пользуется русской графикой в соответствии с азербайджанской орфографией, в других—излагает эти заимствования в соответствии с орфографией армянского языка. Имеются случаи, когда при написании азербайджан-

ских слов, заимствованных армянским языком, автор пользуется только армянской графикой, забыв дать их транскрипцию кириллицей (с. 53—54).

В некоторых работах, посвященных взаимоотношению языков Кавказского региона, исконно азербайджанско-тюркские слова, вошедшие в грузинский, лезгинский и другие дагестанские языки, ошибочно толкуются как армянские заимствования. К сожалению, автор не высказал своего мнения

относительно этих утверждений.

Изученные М. Мамедовым лексические единицы представляют собой небольшую группу слов, заимствованных армянским языком из азербайджанского. Надеемся, что автор в будущем расширит свои исследования в области изучения взаимоотношений языков двух братских народов.

А. Д. Шукюрли, Э. А. Касумлы

Т. ТУРСУНОВА. МЕЪМОРЛИК ТЕРМИНЛАРИНИНГ ЛЕКСИК-ГРАММАТИК ТАДҚИҚИ

ТОШКЕНТ: ФАН, 1987. 132 с.

В настоящее время узбекское языковедие располагает довольно большим количеством работ, посвященных исследованию разных терминосистем. Несмотря на это, по многим терминосистемам исследования до сих пор не проводились. Рецензируемая монография «Лексико-грамматическое исследование терминов зодчества» посвящена изучению именно такой неисследованной системы узбекского языка.

Прежде чем приступить к непосредственному лингвистическому исследованию лексики зодчества, автор во «Введении» освещает пути становления и развития искусства зодчества вообще, обращает внимание читателя на некоторые древние и исторические факты зодчества в Средней Азии, подчеркивая при этом актуальность изучения данной проблемы.

В первом разделе монографии история формирования терминов зодчества в узбекском языке рассмотрена на материалах памятников древнетюркской письменности (орхоно-енисейских), «Дивана» Махмуда Кашгари, анонимного произведения XIII—XIV вв. «Аттухфы», среднеазиатского тефсира (XII—XIII вв.), хорезмийских памятников (XIV в.), произведений Алишера Навои и др. Здесь собрано и систематизировано большое количество тюркских, арабских и персидско-таджикских слов, относящихся к лексике зодчества. Научный анализ слов позволил объективно показать весь сложный путь исторического формирования терминов зодчества в узбекском языке. Но термины зодчества классифицируются еще и в рамках каждого рассматриваемого письменного памятника, что, на

наш взгляд, нецелесообразно, так как, во-первых, это привело к появлению множества повторов, и, во-вторых, оказалось, что тематическому классифицированию посвящены два раздела.

В разделе «Ономастологическая характеристика названий сооружений зодчества» рассматриваются многие сооружения зодчества как древности, так и современные (Арк, Исмонл Сомоний мақбараси, Минорай калон, Кўкалдош мадрасаси, тоқи заргарон, Гўри Амир, Улугбек мадрасаси, Навоий станцияси, Санъат саройи и мн. др.). Большое внимание уделяется принципам номинации, специфике номинативных сочетаний и взаимоотношению их компонентов. Подчеркнуто преобладание в названиях-сочетаниях сооружений зодчества послереволюционного периода русско-интернациональных слов (с. 72), с чем можно полностью согласиться. Однако автор считает названиями сооружений зодчества такие единицы, как «Узэлектромонтаж» трести, «Ташхимсельмаш» заводи (с. 63), «Малика» фирмаси (с. 64), «Чевар» тикувчилик артели, Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика институти (с. 68) и многие другие, хотя эти единицы являются названиями предприятий, учреждений, а не помещений, зданий. Это общеизвестно и потому не нуждается в обосновании. Далее, в некоторых местах работы «ономастологическая характеристика» названий сооружений напоминает больше историческую справку об определенном медресе (или другом архитектурном памятнике).

В двух других разделах довольно обстоятельно освещены тематические группы и подгруппы терминов зодчества узбекского языка. Автор с учетом системного отношения понятий искусства зодчества и межсистемных отношений понятий народного прикладного искусства в целом представила стройную тематическую классификацию рассматриваемых терминов.

В терминологической лексике зодчества узбекского языка, с историко-этимологической точки зрения, наряду с исконно узбекскими (тюркскими) словами, существует множество заимствованных слов. Как

определяет автор монографии, эти заимствования составляют три пласта: 1) персидско-таджикский, 2) арабский и 3) заимствования из русского языка и через русский из других языков. Разнообразна и структура этих заимствований.

Можно сказать, что настоящая монография Т. Турсуновой, несомненно, ценна и в теоретическом, и в практическом плане; она обогащает не только узбекскую терминологию, но и терминологию тюркских языков в целом.

Н. М. Махмудов

НАУЧНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ПАЛЬМБАХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

14—15 октября 1987 г. Тувинский НИИ языка, литературы и истории провел чтения, посвященные памяти известного советского тюрколога и крупного исследователя тувинского языка профессора Александра Адольфовича Пальмбаха (1897—1963) в связи с 90-летием со дня рождения ученого. В них приняли участие видные ученые из СО АН СССР—Е. И. Убрятова, М. И. Черемисина, Н. Н. Широкова, сотрудники ТНИИЯЛИ, преподаватели Кызылского госпединститута, писатели, представители общественности города и республики. В зале заседаний была организована выставка трудов А. А. Пальмбаха.

Открывая чтения, директор ТНИИЯЛИ д-р ист. наук Ю. Л. Аранчын ознакомил присутствующих с биографией А. А. Пальмбаха, подробно изложил основные вехи жизненного и творческого пути ученого. Один из создателей тувинской национальной письменности, писатель и ученый А. А. Пальмбаха прожил плодотворную жизнь—ему принадлежат более 30 научных трудов, в том числе созданная совместно с Ф. Г. Исхаковым грамматика тувинского языка.

Говоря о роли А. А. Пальмбаха в совершенствовании тувинской письменности и орфографии, Д. А. Монгуш отметил, что ученый в течение более 30 лет руководил разработкой тувинской орфографии, составлением учебников, пособий, организацией национальной печати, переводом тувинской письменности на русский алфавит и т. п. Касаясь совершенствования тувинской орфографии, докладчик высказал мнение о том, что некоторые трудные вопросы правописания (например, написание слабых согласных, позиционно приобретающих то глухое, то озвонченные или звонкие оттенки) должны решаться с учетом тюркских орфографий.

«Литературное творчество А. А. Пальмбаха»—так называется доклад Д. С. Куулара, в котором был дан подробный анализ деятельности А. А. Пальмбаха как писателя, члена Союза писателей СССР. Создатель ряда оригинальных произведений,

активный переводчик, А. А. Пальмбаха оказал практическую помощь в становлении целой плеяды поэтов и писателей 30—50-х годов. Произведения А. А. Пальмбаха вошли в учебники родной литературы тувинских школ, его творчество изучается студентами-филологами.

С докладом «А. А. Пальмбаха как переводчик «Слова арата» С. К. Тока (1-я книга)» выступил А. К. Делгер-оол. Докладчик отметил, что перевод этого произведения, осуществленный А. А. Пальмбахом, наиболее близок к языку оригинала.

Фонетической концепции А. А. Пальмбаха по тувинскому языку посвятил свой доклад К. Бичелдей.

Все научные вопросы фонетики тувинского языка А. А. Пальмбаха рассматривал с точки зрения решения практических вопросов графики, орфографии и других сторон функционирования языка. Его взгляды на систему гласных и согласных тувинского языка постепенно, по мере накопления фактических данных и углубления научных исследований, постепенно менялись: если в 30—40-х годах он считал, что в тувинском языке 32 гласные фонемы, то в 50—60-х гг. утвердился в мысли, что их 24; в 30-х годах он придерживался мнения, что согласных фонем в тувинском языке 19, а в 60-х—что 22, в том числе три (ф, ц, щ)—зайствованные. Примечательно, что уже в 40-х годах А. А. Пальмбаха отмечал закономерную обусловленную фарингализованность гласных непервых слогов под влиянием особой артикуляции фарингализованного гласного первого слога. Правда, не все положения ученого выдержали испытания временем, но в целом его фонетическая концепция, до настоящего времени будучи актуальной, лежит в основе фонетической части «Грамматики тувинского языка» (М., 1961).

Вклад А. А. Пальмбаха в укрепление дружественных уз братских советских народов был освещен в докладе З. Б. Самдан «А. А. Пальмбаха—ученый-интернационалист». Уважением к древней тувинской

культуре, к тувинскому языку, который он знал в совершенстве, А. А. Пальмбаха снижал к себе такое же отношение со стороны тувинского народа; уже в 30-х годах он вел умелую и активную пропаганду русского языка среди тувинцев и тувинского языка среди русских.

Проф. Ш. Ч. Сат в своем докладе «Развитие общественных функций тувинского языка в советское время» констатировал значительное расширение их в настоящее время по сравнению с начальным периодом введения национальной письменности; тувинский язык стал официально-деловым языком, языком радио и телевидения, прессы, науки, техники и т. д.

Проф. Е. И. Убрятова свой доклад об истории советской тюркологии посвятила памяти первого председателя Советского комитета тюркологов—акад. А. Н. Кононова. В ее докладе получили отражение научные взгляды известных ученых прошлого—Н. Я. Марра, И. И. Мещанинова, С. Е. Малова, А. А. Пальмбаха, В. М. Наделяева. Е. И. Убрятова высказала свое мнение о путях дальнейшего развития советской тюркологии, в частности об исследовании тюркских языков Сибири.

По проблемам, связанным с созданием синтаксической части научной грамматики тувинского языка, выступила проф. М. И. Черемисина.

Н. Н. Широкова ознакомила участников чтений с состоянием сбора и анализа материалов по «Диалектологическому ат-

ласу тюркских языков Сибири», в котором принимают участие и тувинские языковеды.

Отдельным вопросам тувинского языка, фольклора, истории, этнографии и археологии были посвящены доклады Б. И. Татаринцева—«К истории изучения тувинского языка»; М. П. Татаринцевой—«О записях тувинского фольклора в архивном наследии И. Г. Сафянова»; Ч. П. Опей-оол—«Функциональные стили тувинского языка»; М. В. Оюн—«О субстантивации причастных форм в тувинском языке»; С. Ф. Сегленей—«Фонологическая интерпретация согласных русского и тувинского языков»; А. С. Донгак—«Лексические единицы санскритско-тибетского происхождения в языке тувинского фольклора»; М. Б. Мартан-оол—«Изогlossные явления в фонетике тувинского языка»; З. Б. Чадамба—«Наименования некоторых диких животных в диалектах и говорах тувинского языка»; О. М. Эфендиевой—«Социалистическая обрядность как важный фактор преодоления религиозных пережитков»; А. Ч. Ашак-оола—«Историко-этнографические параллели культов быка и собаки у племен Тувы в эпоху бронзы»; И. У. Самбуу—«Археологические раскопки в Монгун-Тайге».

Подводя итоги Пальмбаховских чтений, Ю. Л. Аранчын подчеркнул, что научное наследие А. А. Пальмбаха должно получить более детальное осмысление в свете современных достижений филологических наук в Туве.

К. Бичелдей

С О Д Е Р Ж А Н И Е

СТРУКТУРА И ИСТОРИЯ ЯЗЫКА

- В. Г. Гузев* (Ленинград). О категории аспектуальности 3
В. И. Сергеев (Чебоксары). Многозначность слова и контекстная семантика 12
Б. И. Татаринцев (Кызыл). О специфике семантической реконструкции в условиях отдаленности значений многозначных слов 20

ФОЛЬКЛОР. ЛИТЕРАТУРА. КУЛЬТУРА

- Т. Д. Меликов* (Москва). О структуре стихотворных текстов «Книги моего деда Коркуда» 28
А. В. Образцов (Ленинград). К интерпретации традиционных сюжетов у Ахмеди 34
Ф. Урманчиев (Елабуга). Мотив бездетности в тюркском эпосе 41

ОНОМАСТИКА

- Г. Ф. Саттаров* (Казань). Ойконимические термины со значением «город» и «село» в истории татарского языка и топонимии 47
М. Р. Федотов (Чебоксары). Роль чувашских слов в образовании ойконимов Марийской АССР 59

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

- Э. Р. Тенишев* (Москва). Принципы составления исторических грамматик и историй литературных тюркских языков 67
Г. Ф. Благова (Москва). Соотношение «истории литературного языка» и «исторической грамматики» в исследовании средневекового тюркоязычного памятника 79
Л. Ю. Тугушева (Ленинград). «Диван лугат ит-тюрк» Махмуда Кашгари и его связи с раннесредневековой тюркоязычной литературой 86
Н. М. Худиев (Баку). Обогащение азербайджанского литературного языка советского периода за счет аббревиатур 95

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

- Х. С. Джанибеков, А. А. Чеченов* (Нальчик, Москва). О темпоральных, аспектологических и модальных признаках форм прошедшего неочевидного времени индикатива карачаево-балкарского глагола (форма типа келгенди) 103
А. Х. Джубанов (Алма-Ата). Подготовка тюркоязычного текста для получения словоуказателя произведений индивидуального писателя на ЭВМ 115

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
РЕЦЕНЗИИ

- В. Я. Пинес* (Баку). Studies on modernturkish: proceedings of the third conference on turkish linguistics/Hendrik E. Boeschoten, Ludo Th. Verhoeven (eds.) 123
Л. Ш. Арсланов (Елабуга). Исследования по исторической диалектологии татарского языка 128
А. Д. Шукюрли, Э. А. Қасумлы (Баку). Мәммәдов М. Дилләрин гаршылыгы алағәси 129
Н. М. Махмудов (Ташкент). Т. Турсунова. Меъморлик терминларининг лексик грамматик тадқиқи 131

НАУЧНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

- К. Бичелдей* (Кызыл). Пальмбаховские чтения 133

CONTENTS

STRUCTURE AND HISTORY OF LANGUAGE

- V. G. Guzev (Leningrad). On the category of aspect 3
 V. I. Sergejev (Cheboksary). Polysemy of word and contextual semantics 12
 B. I. Tatarintsev (Kyzyl). On the specific character of semantic reconstruction of the polysemantic words according to their remoteness 20

FOLKLORE. LITERATURE. CULTURE.

- T. D. Melikov (Moscow). On the structure of text in verse form «My Grandfather Korkud's Books» 28
 A. V. Obratsov (Leningrad). Towards the interpretation of Akhmedi's traditional plots 34
 F. Urmancheyev (Yelabuga). The motive of childlessness in the turkic epos 41

ONOMASTICS

- G. F. Sattarov (Kazan). Oikonomimik terms with the meaning of «city» and «village» in the history of the Tatar language and toponimy 47
 M. R. Fedotov (Cheboksary). The role of the Chuvash words in the forming of oikonyms in the Mariy ASSR 59

DISCUSSIONS

- E. R. Tenishev (Moscow). Construction principles of historical grammars and histories of the literary turkic languages 67
 G. F. Blagova (Moscow). The relation between «history of the literary language» and «historical grammar» in the research of the medieval turkic script 79
 L. Yu. Tugusheva (Leningrad). Makhmud Kashgar's «Divan lugat it-turk» and its connections with the early medieval turkic literature 86
 N. M. Khudiyev (Baku). Enrichment of the literary Azerbaijani at the expense of abbreviations in the Soviet period 95

MATERIALS AND REPORTS

- Kh. S. Janibekov, A. A. Chechenov (Nalchick, Moscow). On the temporal, aspectual and modal signs of the indicative of the Karachai-Balkar verb in the Past non-obvious Tense (form like kelgendy) 103
 A. Kh. Jubanov (Alma-Ata). The preparation of the turkic text for the word—reference of individual writer's works by means of computer 115

CRITICISM AND BIBLIOGRAPHY

REVIEWS

- V. Ya. Pines (Baku). Studies on modern Turkish proceedings of the third conference on turkish linguistics/Hendrik E. Boeschoten, Ludo Th. Verhoeven (eds.) 125
 L. Sh. Arslanov (Yelabuga). Исследования по исторической диалектологии татарского языка 128
 A. D. Shukuyur'k, E. A. Kasumly (Baku). Мәммәдов М. Дилләрин гаршылыгы өлагәси 129
 N. M. Makhmudov (Tashkent). Т. Турсунова. Мәмморлик терминларининг лексик грамматик тадқиқи 131

SCIENTIFIC AND CULTURAL LIFE

- K. Bicheldey (Kyzyl). Palmbakh's readings 133

© «Советская тюркология», 1988 г.

Технический редактор Б. А. Абдуллаев.

Корректоры: А. А. Гусейнова, С. Д. Эфендиева.

Сдано в набор 16.01.88 г. Подписано к печати 16.05.88 г. ФГ 05030. Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Бум. л. 3,5. Физ. печ. л. 11,2 Уч. изд. л. 10,4.
 Заказ 451. Тираж 2506. Цена 1 руб. 10 к.

Типография издательства «Коммунист», ул. Авакяна, 529 квартал.